





У.В. Харинский

Иван НАЖИВИН



РАСПУТИН

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2013

УДК 821.161.1
ББК 84 Р1
Н18

Серия основана в 2007 году

Наживин И. Ф.

Н18 Распутин. Полное издание в одном томе/ — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 824 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-1504-5

Иван Федорович Наживин (1874 — 1940) — известный русский писатель и публицист, видный деятель Русского зарубежья.

В настоящее издание вошел его трехтомный роман «Распутин», повествующий о трагических событиях в России начала двадцатого века. Изданный впервые в Лейпциге в 1923 — 1924 годах, роман был переведен на многие европейские языки и принес автору широкую международную известность.

УДК 821.161.1
ББК 84 Р1

ISBN 978-5-9922-1504-5

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I «РАСТАЩИХА»

Закинув ружье за спину, Евгений Иванович вышел из избы на улицу. Его рослый, желто-пегий породистый Мурат прыгал, визжал от нетерпения и смотрел на своего хозяина заискивающими глазами: он был уверен, что они пойдут опять по тетеревам.

Костачок — взъерошенный, худощавый мужичонка с глупым лицом и грязный выше всякой меры — провожал тороватого гостя. Евгений Иванович невольно остановился: над синей лесной пустыней, затянувшей весь горизонт, в тихом сиянии летнего вечера стояли два огромных и страшных, как привидения, столба дыма.

— Что это? Опять пожар в лесах? — спросил Евгений Иванович.

— Пастушата, знать, зажгли... — равнодушно отвечал Костачок. — Известно: сушь...

— Экое безобразие! — сумрачно пробормотал Евгений Иванович, и его серые глаза приняли на минуту свойственное им мученическое выражение. — Как это только вам своего добра не жалко!

— Так лес ведь казенный, Евгений Иваныч... — сказал Костачок. — Эва тут его сколько! Море!.. Опять вырастет...

Евгений Иванович ничего не ответил: бесполезно... Он поправил тяжелый ягдташ, в котором лежали взятые за две зари тетерева, и сказал:

— Ну, прощай пока, Константин...

В отличие от других городских охотников он никогда не звал сторожа Костачок, как прозвали его господина.

— Я провожу вас до околицы, Евгений Иваныч... — сказал тот. — А может, лошадку все же запретить?

— Нет, нет, я не устал... — отвечал Евгений Иванович. — И с удовольствием пройду пешком...

— Как угодно... Так я провожу вас маленько...

Они пошли деревенской улицей, освещенной косыми лучами вечернего солнца. Деревня была небольшая, дворов всего десять, но и из них половина была заколочена наглухо: хозяева побросали дедовские пашни и перебрались в города. Две крайние избы совсем завалились и густо поросли горько пахнувшей крапивой и огромными лопу-

хами. Золотушные, немывтые ребятишки возились в пахучей и теплой пыли пустынной улицы. Тошая и вся искусанная собака, поджав хвост, опасно лаяла издали на Мурата... Евгения Ивановича всегда охватывала какая-то щемящая жуть при виде этой явно умиравшей деревни.

— Ну и неказиста же ваша Лопухинка! — сказал он, только чтобы не молчать.

— Чего там! — охотно согласился Костачок. — Ее теперь никто, почитай, Лопухинкой-то уж и не зовет, а все больше Растащиной...

И он засмеялся: ему нравилось меткое прозвище его деревни.

У серенькой развалившейся околицы они расстались, и Евгений Иванович бодро зашагал крепкой и звонкой тропинкой. Все вокруг сияло золотистым вечерним светом. Мурат с наслаждением носился по низкорослому кустарнику, который засел вокруг ярового поля. Хозяин не обращал на своего любимца никакого внимания — он думал о своем...

Евгений Иванович был теперь уже совсем свой в этом лесном краю. Его отец был из бедных крестьян Ярославской губернии. Еще молодым парнем он бросил землю и семью и ушел, как в тех местах и полагалось, в Москву. Там он поступил «шестеркой» в дешевый трактир на окраине города. Парень развертистый и ловкий, он отличался большой смелостью в достижении поставленных перед собой целей: если какой гость крепко подгуляет, он сдерет с него вдвое, при сдаче обсчитает как его, так, по возможности, и зоркого хозяина, а когда пьяненький гость задремлет за столом, он не постесняется вытащить у него и кошелек. «Смотри в оба, а зри — в три», — со смехом говорили «шестерки». Так, по крайней мере, рассказывали о начале его карьеры однодеревенцы, которые жгуче завидовали его быстрым успехам на жизненном поприще. Так это было или не так, никто достоверно, конечно, не знал, но во всяком случае молодой ярославец очень быстро оперился, хорошо — с большим приданым — женился, а когда родился у него сын Евгений, он уже был владельцем одного из самых крупных трактиров Москвы, очень любимого купечеством, а потом вскоре и большого водочного завода. Успех вскружил голову энергичному промышленнику, и он стал крепко запивать — чертить, как говорили москвичи, — и, часто допиваясь до белой горячки, пугал домашних своим диким видом и ловил чертей. К нему привозили и знаменитых докторов, и всяких гипнотизеров, и молебны над ним служили, но ничто не помогало. В конце концов из Кронштадта был выпущен знаменитый в те времена отец Иван Сергиев. Батюшка, в лиловой шелковой рясе, старчески румяный и елейный, откушал заготовленной ему по обычаю зернистой икры с калачиком, запил ее хорошей мадерой, затем стал говорить привычные душеспасительные речи, а потом истово помолился о здравии и спасении болящего раба Божия Иоанна. Затем, побеседовав опять прилично с домашни-

ми и получив пятьсот рублей, его обычный гонорар, — батюшка уехал, а раб Божий Иоанн зачертил еще более и через три дня умер от удара в публичном доме, совсем голый.

Евгений Иванович был в это время уже студентом четвертого курса. Учился он вяло, рассеянно и без охоты. Как только умер отец, он в полном согласии с матерью — она была из небогатой, но старинной московской купеческой семьи, ликвидировал все дела покойного, чтобы переселиться куда потише, поспокойнее. В свои края им не хотелось — там были бы они слишком на виду, — и вот они уехали в Окшинск, небольшой губернский город недалеко от Москвы, где и купили себе хорошую усадьбу с несколькими старинными, уютными и обжитыми домами, на зеленом обрыве, над светлой ширью тихой красавицы Окши. И дома эти давали хороший по провинции доход, были деньги у них и в банке, а жили они тихо и скромно. Потом Евгений Иванович женился на бедной девушке, дочери местного прокурора, бросившей ради него высшие курсы. И чтобы что-нибудь делать, он стал издавать газету...

Теперь ему было уже за тридцать. Он был довольно высокого роста, по-мужички крепок костью, но что-то было во всей его фигуре надломленное, и иногда его серые глаза и тихое лицо с небольшой белокурой бородкой принимали вдруг мученическое выражение. Разговаривая он никогда не был, а с течением лет как-то замолкал все более и более, все более и более отходил от суетливой и для него утомительной жизни людей в свои думы. Может быть, охоту и рыбную ловлю любил он больше всего за то, что это давало ему повод уходить от людей в молчание зеленых пустынь. Ведение газеты он очень скоро бросил: у него не оказалось ни достаточной выдержки для этого, ни такта в отношениях с местной администрацией, которая, конечно, видела в самом существовании газеты какое-то личное для себя оскорбление и старалась ей вредить изо всех сил с первого же дня ее существования. И Евгений Иванович передал газету своим сотрудникам, ограничиваясь только тем, что иногда шел вечером поболтать с ними часок, а в конце года охотно, просто и без разговоров покрывал обязательный дефицит ее: Окшинск был городок небольшой и тихий, читать не любил, а окрестные крестьяне, когда «Окшинский голос» попадал им случайно в руки, или оклеивали его листами свои избы, думая, что это очень красиво, или искуривали его.

Думы Евгения Ивановича были двух сортов: одни обыкновенные, повседневные и простые, которые он иногда высказывал даже с охотой, — это были те думы, которыми жило тогда все культурное русское общество, веруя в их истинность, терпя за них всякие лишения, уповая на них как на каменную гору; другие думы были у него собственные, особенные, которым он не совсем и сам доверял, которых и сам иногда боялся, но от которых уйти было некуда, — думы, одна другой противоречащие, думы-вопросы, на которые не всегда было

можно найти ответ, думы часто ядовитые. Об этих думах своих он не говорил никому, разве только иногда вырывались они в минуту раздражения, горечи, тоски, но и тут он быстро спохватывался, запирали их в себе, и вот в эти-то моменты и проступало в его глазах мученическое выражение. Люди же в таких случаях смотрели на него с недоумением и между собой звали его оригиналом и чудаком, а иногда и вертели выразительно около лба пальцем, показывая, что у него в голове не все в порядке...

Дорога шла бесконечной, казалось, и унылой вырубкой, охватившей тысячи и тысячи десятин: всюду, куда ни кинешь глаз, виднелись бесконечные тысячи серых, мертвых пеньков — точно поле битвы, усеянное мертвыми черепами. И по этому мертвому полю чуть заметными канавками тянулись заплывшие уже межи: видно было, что некогда тут была пашня, которую мужики забросили, и она взялась лесом. Когда лес немножко поднялся, крестьяне вырубали его, а по пенькам стали пасти скот, который вытаптывал и выедал молодую поросль, и мертвая вырубка так и оставалась навеки мертвой вырубкой, по которой рос только жесткий белоус, пунцовый иван-чай да местами, вокруг пеньков, брусника. Скот с такого пастбища возвращался домой голодным и измученным жаждой: источники все давно пересохли и только несколько ржавых болотцев еще освежали эту мертвую пустыню, этот гигантский хозяйственный нуль. Но и болотца усыхали все более и более, и старики утверждали, что тихой красавицы Окши за последние годы и узнать стало нельзя: до того она обмелела.

Евгений Иванович испытывал всегда глухое отчаяние при виде этого хозяйственного безобразия, этого дикого хищничества, этого самообкрадывания народа. Созерцатель, мечтатель по натуре, уставший от жизни раньше еще, чем начал как следует жить, он все же носил в себе — наследие отца — ту практическую сметку, то ясное прозрение в суть практического дела, которые обычно чужды людям его склада, а пожалуй, и вообще интеллигенции, которая незаметно подменила для себя пеструю и сложную живую жизнь более или менее разнообразной библиотекой. Он понимал, что это мертвое поле — экономическое преступление. Вскоре после смерти отца он поехал за границу, но прожил там всего только год — она не захватила его так же, как и университетская наука, — и вернулся опять домой. Но там он успел все же познакомиться с крестьянским хозяйством. И теперь эти мертвые пеньки убивали его. Там, в более умных или более практических странах, пашни или не бросали совсем, или если бы уж запустили поля под лес, то лес холили бы и берегли, а когда пришло время, его срубили бы и снова тотчас же засадили бы вырубку молодым лесом, а не вытаптывали ее скотом, превращая навсегда в пустыню, то есть грабя себя, своих детей, свою родину...

Вымирающая Расташиха — он невольно усмехнулся этому меткому прозвищу — это огромное поле, усеянное мертвыми пеньками, пастьшата, выжигающие дивные строевые боры, все эти отдельные факты сливались для него в одно огромное и страшное целое: ведь все это происходит не только в этом уголке Русской земли, перед его глазами, — это происходит на всем необъятном пространстве России. Вся Россия в сущности одна огромная Расташиха, темная, нелепая, сама себя разоряющая, тяжелая и озлобленная. Сердце защемило — он любил Россию. Сын своего века, он отлично видел и понимал все крайности патриотизма и национализма, иногда он мечтал о том светлом будущем, когда забрызганный кровью род человеческий сольется все же в конце концов в одну огромную, дружную и трудовую семью. В то же время вопреки рассудку и течениям века он любил какую-то нутряную, не рассуждающей, исключительной любовью и этот старый и зеленый Окшинский край, с которым он так сжился уже, и всю огромную Русь, — любил, хотя иногда думал, что он все это ненавидит.

И все же — несомненная Расташиха!.. И нельзя закричать об этом: правые, патентованные патриоты обидятся, потому что им доподлинно известно, что в России все обстоит благополучно и что Россия всему свету голова, и обидятся левые, потому что в этом критическом отношении к русскому народу они увидят опять-таки оскорбление этого народа, о котором они составили себе по книжкам совершенно фальшивое, но очень определенное представление и в котором они почему-то старались видеть какую-то Голконду всяческих добродетелей. Обидится и вся власть предрержащая, потому что в этом она увидит намеки на свою бесхозяйственность и бездеятельность. И все-таки Расташиха!..

Мутно и тяжело стало на душе. Он остановился и точно пришел в себя. Огляделся... Сперва от пустынной дороги тянулось покрытое корявым березняком и ягодником небольшое, но топкое болотце, носившее название Заячий Ключик. Весь розовый в лучах заката, Мурат прекрасной, легкой тенью носился между кочек и жалких, объединенных скотом кустиков тальника и вдруг потянул, опять горячо заискал, опять потянул и стал в одной из своих художественных, чарующих стоек. Невольно любуясь прекрасным животным, Евгений Иванович снял с плеча свой тяжелый «франкотт» и пошел к собаке. Услышав чмокание его сапог по болоту, собака боязливо покосилась на него, точно желая сказать: «Да тише же ты!..», и чуть подалась вперед и опять замерла среди густого гонобобельника. Изготовившись, Евгений Иванович стал подходить к собаке ближе. Она вся дрожала временами мелкою дрожью, и глаза ее горели зеленым огнем. И вдруг впереди, в тальнике, заплескали сильные крылья и взорвалась крупная птица. Евгений Иванович быстро вскинул ружье, но, заметив вовремя, что это тетерка, не стал стрелять: он маток не бил, и знакомые

охотники смеялись над этим его «благородством» и — били все, насколько не заботясь о завтрашнем дне. Евгений Иванович приласкал недовольную отсутствием выстрела собаку и только было повернул опять к дороге, как из кустов, с большой лужи, вырвался юркий чирок. Евгений Иванович торопливо повел ружьем, шелкнул выстрел, и чирок, кувыркаясь, красиво упал в болотце. Мурат своими мягкими, спорыми машками полетел за убитой птицей...

— Евгению Ивановичу почет и уважение!.. — с легким оттенком иронии проговорил мужской голос. — Ловко вы утку-то смазали...

Евгений Иванович обернулся: на зыбких лавах через болотце, в густом тальнике, стоял его почти приятель и сотрудник его газеты местный крестьянин Сергей Терентьевич Степанов, коренастый, крепкий мужчина лет под сорок, с волнистыми темными волосами и открытым, загорелым лицом, которое чуть портил как-то неправильно приплюснутый нос. Голову и бороду Сергей Терентьевич стриг уже не в скобку, а на городской лад, «под польку», и теперь поверх белой в крапинках ситцевой рубахи на нем был старенький пиджак, а на ногах сапоги.

— Из Лопухинки? — спросил он, здороваясь.

— Здравствуйте, Сергей Терентьевич... — отозвался Евгений Иванович с удовольствием. — Из бывшей Лопухинки — теперь ее перекрестили, говорят, в Расташиху...

— Верно... Расташиха и есть... — засмеялся Сергей Терентьевич. — На станцию пробираетесь?

— Да, к дому...

— Так пойдемте ко мне чайку попить, а там к ночному я вас увезу... — сказал Сергей Терентьевич. — Давно вы у меня не были...

— С удовольствием...

— Вот и отлично... Медком свеженьким угощу...

Глава II НОВЫЙ МУЖИК

— А вы что тут поделывали? — спросил Евгений Иванович, когда они выбрались на дорогу.

— Был я тут по делу пока секретному... — сказал Сергей Терентьевич. — Ну, да вам сказать можно: хочу на хутор у мужиков проситься, так вот и высматриваю все кусочек земельки себе...

— Да какая же тут земля? — удивился Евгений Иванович. — Только белоус и растет...

— Если просить хорошей, так свары и скандалу будет столько, что и в год концов не увидишь... — сказал задумчиво Сергей Терентьевич. — Я сюда с намерением тяну — все меньше горланить будут...

А что касается до плохого качества земли, так в этом деле я согласен с Кропоткиным, Евгений Иванович, который пишет справедливо, что плохой земли на свете нет, а есть только плохие хозяева. Из всякой земли можно сделать хорошую — только не ленись!

Евгений Иванович с симпатией посмотрел на своего собеседника.

— Это так. Вся беда наша в том, что рассуждают так только единицы, а миллионы — вот полюбуйтесь, что наделали! — указал он на мертвое поле. — Жуть берет! А вон там леса опять горят... — указал он на темные колонны дыма, которые грозно стояли над синим морем лесов.

— И не говорите! — махнул рукой Сергей Терентьевич. — Верите ли, вся душа выболела, глядя на этот разбой... И загорелось ведь еще третьего дня — ударь в набат, собери все деревни сразу, и в один день с огнем справились бы. Так нет, дали вот разгореться как следует, да в двух местах еще, а теперь всю волость завтра поднимают на пожар. Там проканителишься, может быть, и всю неделю. А у нас рожь поспела, убирать надо — посчитайте, во что это теперь народу влетит: лесу сколько выгорело, мужики неделю потеряют на тушении его, рожь потечет... И знаете, что меня больше всего тревожит? — сказал он и даже остановился. — Что мужик темный глупости такие выделывает, это еще понятно, но ведь часто и образованные люди глупее нас себя оказывают... Вот недалеко ходить: четыре года назад загорелся так же вот лес за Ужболом, строевой, могучий сосняк. А как такие леса горят, вы сами знаете: огонь бежит низом и только чуть прижигает кору. Конечно, лес потом все равно подсохнет, но если его взять и срубить тотчас же после пожара, то вреда, — Сергей Терентьевич охотно употреблял в беседе народные обороты, — не будет. Только не зевай! Ну, и богатей ваш окшинский, Кузьма Лукич, сейчас же полетел к лесному ревизору: плачу за лес по установленной таксе — дайте разрешение на рубку! Оказывается, нельзя: надо запросить Петербург. Ладно. Послали запрос. Ответ приходит — вот истинное слово, не вру! — через год можно. А лес уже портиться стал: и короед, и все прочее — одно слово, сухостой. Кузьма Лукич говорит, что теперь, дескать, по таксе платить мне не с руки, потому лес порченный, полтаксы, извольте, дам. Опять запрос в Петербург, и опять приходит ответ через год можно. А лес совсем уж задумался, и тот же Кузьма Лукич, отказавшись теперь платить и полтаксы, вскоре купил его как брак за тысячу рублей. А ведь два с половиной года назад он давал за него добровольно более пятидесяти тысяч! Что же это такое? Казна потеряла пятьдесят тысяч, великолепный строевой лес испилили на дрова — да и дрова-то получились уж дрянненькие, — сколько времени потеряли со всей этой волянкой бестолковой, ведь, право, так только Мамай может хозяйничать в завоеванной стране, а у нас так с народным добром обходятся свои же люди, которые зовутся образованными, которые к этому делу специально приставлены... Где же у них го-

ловы-то? О чем они думают? Ведь вон ваш пес и тот свое дело знает: отыскал птицу, достал ее из воды, подал, — и он свой хлеб отработывает... А они?

— Дела плохи, скрывать нечего, Сергей Терентьевич...— сказал Евгений Иванович печально и ласково. — Вот когда я сегодня от Константина лопухинского в первый раз про Расташиху услышал, я подумал, что в сущности ведь и вся Россия Расташиха...

— Правильно! Верно ваше слово! — сказал Сергей Терентьевич. — Посмотрите, у вас под городом винопольку выстроили — дворец в четыре этажа, чуть не за тридцать верст видно. А школы? Помню, незадолго до смерти Льва Николаевича был я у него в Ясной, так старик все по комнате бегал и ужасался, что народ в сутки два миллиона рублей пропивает... В сутки, в сутки! И в то же время народ разут, раздет, безграмотен — на дело денег нету... Или вот, помню, как в солдатах я служил: я в Петербурге солдатчину отбывал, в стрелках, нагляделся на тамашние роскошества. Одну гвардию возьмите: вся в золоте и в серебре, лошади тысячные, все огнем горит — сколько все это стоит? Как можно допускать это в соломенной, вшивой, неграмотной России? С какими думами пойдут из этих полков парни по своим поганеньким избенкам, полным тараканов да шелудивой детворы? И мало Зимнего дворца, еще дворцы поставили себе и в Царском, и в Петергофе, и в Ораниенбауме, и в Гатчине, и в Крыму, и везде — к чему это мотовство, этот разбой? Правильно, правильно говорите вы, что Расташиха...

И они шли пустынной дорогой, которая, выбежав с мертвой вырубки, змеилась теперь то крестьянскими хлебами — немудрячи они были, эти хлеба! — то небольшими перелесками, то чахлыми, кочковатыми, заболоченными покосами, и говорили, говорили на те тяжелые русские темы, о которых говорили миллионы русских людей, говорили без конца, говорили бесплодно, потому что никаких реальных результатов от этих неугасимых разговоров не было. Вокруг них радостно сияла мягким закатом разоренная, истощенная земля, в чистом небе таяли пушистые облачка, ласково манили русские дали, а они безжалостно бередили раны душ своих и страдали искренно, подлинно, глубоко, болели болями странной и несчастной земли своей...

Сергей Терентьевич был человеком далеко не заурядным — какою-то белою вороной в серой, бестолковой, крикливой стае русского крестьянства. Когда он подрос, то по традиции древней окшинской земли решил: на земле «биться» не стоит — надо «выходить в люди». На окшинском языке это значило переехать в город и поступить на какую-нибудь должность. Так он и сделал. Он был лакеем на волжском пароходе, и служил артельщиком в технической конторе, и был старшим дворником в огромном доме на Пречистенке, и был кондитером с лотка, и приказчиком в лесном деле и, парень хорошо грамотный и толковый, смотрел, запоминал, думал и в конце концов

решил, что все это «только видимость одна». Он все бросил, вернулся домой, в деревню, и взялся за хозяйство с упорною и молчаливою страстью. Он женился еще в Москве, ему повезло, его Марья Гавриловна оказалась работящею и спокойною хозяйкой, которая хотя и с трудом, но все же втянулась в крестьянское дело: ей было лестно, что здесь она «самостоятельная хозяйка», а не «господская подтирка», как иногда, с раздражением вспоминая свою городскую жизнь, говорила она. И дело у них закипело.

На революцию 1905 года Сергей Терентьевич отозвался сперва радостно, но как только увидел ее близко, с первых же дней, так тотчас же решительно отмежевался от нее и весь с головой ушел в свое молодое хозяйство. Но тут на пути ему вдруг встало совершенно неожиданное препятствие — тот «мир», та крестьянская община, которую Сергей Терентьевич, начитавшись интеллигентских книжек, склонен был ставить очень высоко, думая, что в ней таятся зародыши какого-то светлого будущего. Действительная жизнь с необычайной быстротой и не без жестокости оборвала крылышки этим мечтам. «Мир» и его сходки в действительности совсем не были поэтическим «вече» или «народоправством», в них и следа не было какого-то «хорового начала» — мир был собранием вздорных, мелочных, темных, друг на друга странно озлобленных, гнусно ругающихся и часто совершенно пьяных людей, которые думали и говорили решительно обо всем, но только не об общественном и даже, мало того, не о собственном благе! Сергей Терентьевич очень скоро с испугом заметил, что все более или менее порядочные и разумные мужики и хозяева боялись этого своего веча хуже черта и только в случае крайней необходимости решались выходить на мирские сходки, что на сходках этих верховодила гольтепа, пьяницы, барышники, горлопаны, руководили делами часто в прямой ущерб самим себе, подкупленные разными ловкачами и дельцами за четверть или полведра водки. За эту четверть они продавали ловкачам часто то, на что сами могли бы купить себе сто ведер этой столь ими любимой водки. Человек прямого, светлого ума и энергичной души, Сергей Терентьевич стал стыдить немногих хороших мужиков за это их уклонение от общественных дел, но те только усмехались и говорили:

— Попробовай!

И он стал пробовать. Он предложил мужикам прорыть канавки по заболоченным лугам — его высмеяли: это, может, которым москвичам там мокро, так пушай они наденут манишку и едут опять в Москву, там суше, а нам, мужикам, и так больно гоже. Он стал настаивать, чтобы продать дрянненького мирского быка ростом с кошку и купить быка хорошего, чтобы понемногу улучшить тасканскую породу местных коровенок, дававших по стакану дрянного, синего молока в сутки, — мужики стали говорить о быке всякое похабство, и все кончилось общим смехом. Сергей Терентьевич попробовал отменить ста-

ринный и гнусный обычай «опивать» нанятого по весне пастуха — на него вся голытьба обрушилась с такой злобой, как будто он совершил величайшее святотатство. Он попросил у мира сдать ему в аренду ни на что не нужный деревне выгон на задах: он поставит там небольшой кирпичный заводик и мужики окрестных деревень будут иметь под рукой хороший и дешевый кирпич для построек — ведь они горят почти каждый год, им же расчет выстроиться поумнее, но его высмеяли опять и выгона ему назло не дали и мотивом выставили то, что они не желают быть умнее своих отцов и дедов, которые, слава богу, и без кирпича свой век прожили, а что касаясь пожаров, так это Божие попущение и против Бога могут идти рази которые в Москве побывавши, ну а ежели в Москве лучше, так и надо было там оставаться, а не ездить в деревню баламутить попусту народ. А какой гвалт поднялся, когда предложил он миру наладить свою кооперативную лавку!.. И орали против него всегда лежебоки и пьяницы, отбросы, а те, которые соглашались с ним с глазу на глаз, на сходе не рещались и рта раскрыть. «Что им, острожникам? Сожгут...» — опасливо говорили они о мирских коноводах. И когда он на своей до сего времени пустовавшей — как и у всех — усадьбе посадил садик, парни в ночь выдрали все его яблоньки и ягодные кусты: «Ишь, сволочь, яблоков тоже захотел, паршивый черт!» И когда раз отказался он принять к себе ходивших по деревне пьяных попов, кощунственно оравших по избам какой-то дикий вздор, духовенство с тех пор демонстративно игнорировало его, и он перестал ходить в церковь, и мальчишки орали вслед ему: шелапут... шелапут... Что это значит, они и сами не знали, но предполагалось, что это что-то очень нехорошее и обидное.

В свободное от полевых работ время, которого так много у русско-го крестьянина средней полосы, Сергей Терентьевич столерничал, а отдыхая, усиленно читал, добывая книжки всюду, где только мог. И вот как-то раз зимой он крепко затосковал и, пытаясь оформить то, что его волновало и мучило, пытаясь понять всю эту окружающую его жизнь, нищую, дикую, озлобленную, написал ряд очерков из жизни крестьянства и тайно от всех, даже от Марьи Гавриловны своей, послал их в редакцию одного петербургского журнальчика, который на своем знамени написал «народ», разумея под словом этим прежде всего крестьянство. Недели через три Сергей Терентьевич получил от редакции любезное письмо, в котором ему сообщалось, что его талантливые и интересные очерки могут быть напечатаны, если он согласится на некоторые сокращения. Он, не понимая, в чем дело, на сокращения согласился. Очерки его появились, и Сергей Терентьевич ахнул: сокращено было как раз то, что он ценил больше всего в своем труде, и его крик «спасите, мы погибаем!» каким-то чудом превратился в пошловатый кукиш правительству. Но критика доброжелательно отметила его труд, и московский «Посредник» попросил у него разрешения перепечатать очерки отдельной книжкой. Сергей Терентьевич

опять попытался восстановить искажения в своем труде, но выторговал лишь очень немного: и посредниковцы, как оказывалось, знали народ лучше его и еще лучше знали, что этому народу было надобно. И подумав, что лучше кое-что, чем ничего, Сергей Терентьевич согласился на появление своей книжки в изуродованном виде, но втайне дивился, почему это не дают ему высказаться свободно, почему они считают необходимым опекать его, хотя сами кричат о необходимости свободы слова, и, главное, откуда и как взялась у них эта странная власть заставлять людей говорить не то, что они думают...

Так сразу Сергей Терентьевич, совершенно неожиданно для самого себя, стал писателем. Гонорар очень помогал ему развивать свое хозяйство и укреплять его. Теперь он, в сущности, мог бы и совсем перебраться в город, но именно теперь-то, решил он, и надо ему оставаться в деревне, чтобы — как это ни трудно — помочь ей. Толстой — старик вызвал его ласковым письмом к себе в Ясную познакомиться — всячески одобрял его в этом мужественном решении. Сергей Терентьевич очень сблизился с великим стариком. Его здоровый мужицкий скептицизм легко, без усилий отметал все крайние увлечения старика-правдолюбца, а брал в нем лишь главное, сердцевину: надо трудиться над улучшением жизни своей и народной, бороться с отжившими суевериями, надо согреть и осветить жизнь — прежде всего личную — честным отношением к своим человеческим обязанностям. Яркая противоположность Евгению Ивановичу, это был ум ясный, простой и прямой, колебаний не знавший: хорошо — хорошо, плохо — плохо...

И моментально он был взят под подозрение: в церковь не ходит, читает газеты, не пьет, не курит, живет в сторонке. Были доносы, были разносы, были обыски, были угрозы и напоминания о стране, куда Макар телят не гоняет и ворон костей не заносит, но Сергей Терентьевич спокойно оставался на своем. И так как в деревне он стал от «веча» в сторонку, так как он ничего открыто не проповедовал и так как, главное, мелкие агенты власти отлично понимали, что он за ними знает немало всяческих художеств, то его перестали очень уж донимать: а вдруг возьмет да и ахнет где в газетишках этих паршивых... Между ним и властями установился мир, вооруженный до зубов, и власти только ждали удобного случая избавиться от этого неприятного мужика.

И вот Сергей Терентьевич с Евгением Ивановичем шли теперь вечерующими полями к дому и без конца доказывали себе и один другому, что жизнь бьется в каком-то безвыходном тупике, что какой-то проклятой силой они обречены на толчение воды в ступе, что никаких просветов впереди нет. Революция? Они видели ее близко в 1905 году, и оба сразу отшатнулись от нее, ибо обоим революция представилась огромной бестолковой деревенской сходкой, где горлопанят несуразное разные проходимцы, горлопанят, думая только

об одном: как бы у огонька погреться, как бы в мутной воде половить рыбки. Они только не знали, свойство ли это только русской или всякой революции убивать так революционные мечты и надежды...

Они подошли к околице Уланки, деревни Сергея Терентьевича. На вид она была много зажиточнее Лопухинки, но все же и тут в глаза бросались и брошенные избы, и худосочные дети, и дрянной скот тасканской породы, который только что возвращался домой с пастбища. Только старые развесистые березы, черемухи и липы вдоль улицы, нежившиеся теперь в вечерней прохладе, скрашивали общее неуютное и тяжелое впечатление. Небольшой трехкоконный домик Сергея Терентьевича стоял от края третьим, и это было приятно: можно было пройти незамеченным, не возбуждая праздного и тяжелого любопытства крестьян.

Марья Гавриловна, слегка располневшая с годами, загорелая и опрятная женщина, встретила гостя приветливо и тотчас же с помощью своих трех ребят стала быстро налаживать чаепитие — в саду, около маленькой баньки, под старой развесистой рябиной.

— Революция? — задумчиво повторил Сергей Терентьевич, принося тарелку с чистым сотовым медом. — Нет, нет, с нашим народом об этом и думать нечего! Вот есть у меня тут сосед один, как только напьется, так сейчас же и кричит испуганно: вяжите меня, православные, а то я и сам не знаю, чего наделаю!.. Так и народ наш — не дай бог, если он с петель сорвется...

— Ну хорошо, так... — тихо говорил Евгений Иванович. — Но тогда надо поискать гвоздь покрепче и повеситься — больше ничего не остается ведь...

— Ну, зачем же? — с неудовольствием отозвался Сергей Терентьевич, который хотел, сделав вывод, привести его в исполнение и не любил этих праздных интеллигентских умозаключений. — Повеситься — дело нехитрое. Я думаю, что вся наша беда от нас, нам и исправлять все надо...

— Всяк своего счастья кузнец... — степенно сказала Марья Гавриловна, наливая чай в опрятные стаканы. — Потихоньку да полегоньку... Надеяться ведь, кроме себя, не на кого...

Они говорили тихими, потушенными голосами — за плетнем могли быть недоброежелательные уши. И в душах их было стеснение, тягота.

— Вы вот рассказывали, как лесные чиновники вместо того, чтобы хозяйничать в лесах своих, разматывают народное достояние... — сказал Евгений Иванович. — И это верно. А я вот вспомнил сейчас о нашем Константине. Он у нас в охотничьем обществе состоит сторожем, на обязанности которого лежит прежде всего охрана дичи от незаконного истребления, а ведь всем нам известно, что он — первый браконьер, что он истребляет и лосих, и телят, и петли на птицу ставит... И все это знают, и тем не менее он ходит в охотничьих сторо-

жах вот уже десять лет и еще десять лет проходит. Как же такой заведомый вздор получается? Я лично не очень его виню в том, что он беззаконничает и истребляет зверя и птицу, — нужна...

— Э-э нет! — воскликнул Сергей Терентьевич живо. — Тут вот я уж никак с вами не согласен! Так авансом оправдывать все нельзя, а то и житья нам совсем в деревне не будет... Нужда!.. Во-первых, надо разобраться, отчего нужда. Ведь, как вы знаете, мы, бывшие государственные, землей наделены очень хорошо. В той же Лопухинке земли не меньше семи десятин на душу, то есть у Константина — ведь у него двое сыновей — земли больше двадцати десятин. Сравните-ка количество ее с владением какого-нибудь немецкого мужика — ведь это целое поместье! А Константин хлеб начинает уж с Рождества покупать, а молоко и всегда шилом хлебает... Скажете: темен, не умеет взяться? Учись у тех, которые умеют. Нет, жаловаться он будет, сидя на завалинке, сколько угодно, а вот приналечь на работу — этого от него не жди. И на хорошую корову денег нет, а пропить «на престол» полсотни рублей это у него находится. Нужда!.. Многие в нужде, да ведь не все же берут ножик и идут на разбой... И я по совести вам скажу, Евгений Иванович, эта вот привычка нашей интеллигенции во всем оправдывать народ мне не по душе: труженик — труженик, озорник — озорник. Надо же делать различку между людьми!.. А интеллигенция вот прошельг всяких оправдывает и тем, и другим, а хорошего мужика этим вот самым обижает. Знаю, знаю, что мужик обижен, что многое в нем можно простить, но все же так, авансом, обелять всех, по-моему, дело нехорошее. Я бы вашего Константина, может, и притянул бы, да так, чтобы и в другой раз повадно не было. Берет жалованье за дело, дела этого не только не делает, но сам же первый портит его — нет, такого баловства допускать невозможно, иначе мы из болота никогда не вылезем...

Евгению Ивановичу и приятны были эти прямые, мужественные слова, и, как всегда, в нем поднимались уже всякие ядовитые возражения, которые он, однако, затаивал в себе, не высказывал, и глаза его приняли свойственное им мученическое выражение. Но он справился с собой и перевел разговор на другую тему.

Ночью, когда Сергей Терентьевич повез гостя на полустанок, у житниц гуляла молодежь. Слышалась гармошка, смех, глупые частушки. Ребята, узнав по пегому коньку, кто едет, закричали на разные голоса: шелапут... шелапут... А какой-то парень, зная, что с шелапутом едет городской охотник, громыхнул на гармошке про городского барина:

Ноги тонки,
Боки звонки,
Хвостик закорючай!

И все засмеялись.

Когда выехали они из засыпающей уже деревни, Евгений Иванович оглянулся в сторону Лопухинки: там, над темной пустыней земли, стояло огромное, мутно-багровое зарево горевших лесов и в свежем ночном воздухе остро чувствовался запах гари...

Глава III ТИХАЯ ДРАМА

Евгений Иванович проснулся по обыкновению очень рано. Мурат, заметив пробуждение хозяина, подошел, стуча когтями по полу, к его кровати, потыкал его холодным носом в руку и, обласканный, снова прошел на свой коврик, покружился, лег, почавкал удовлетворенно губами и задремал: утомила его вчерашняя охота. А Евгений Иванович лежал в постели и думал. Он любил эти тихие утренние часы, когда звуки пробуждения земли так еще нерешительны. Вот в Княжом монастыре прозвонили к заутрене, и на эти чистые, жидкие звуки старого колокола сейчас же отозвался дремлющий среди своих вишневых садов старинный городок: по растрескавшимся плитам немудрящих тротуаров его послышались тихие, шаркающие шаги старичков и старушек, направлявшихся по своим храмам — кто в монастырь, кто к Николе Мокрому, кто к Спасу-на-Сече, кто к Прасковее Мученице... Потом во дворе послышался глухой утренний кашель дворника Василия и его беседа с Шариком, который гремел цепью, звонко трепал ушами и громко зевал: «Что, выспался? Ну, будя, будя... Ишь, всю жилетку вымазал... Да ну тебя!..» И по двору мерно зашуршала метла... Кухарки, хлопая калитками, выходили на солнечную улицу и, озабоченно переговариваясь, спешили на базар...

Потихоньку зашевелились и в доме. И звуки были мягки, осторожны, точно ватой окутаны. Спать уже не хотелось — он думал о вчерашнем и на душе было невесело. И что-то особенно тревожило — что это было? Ах да. Он разом поднялся с постели и откинул спущенную парусиновую штору: за окном тихо нежился на утреннем солнышке небольшой старый парк, сбегавший по обрыву к реке, кругом раскинулся пестрый амфитеатр городка с его старенькими колоколенками, сонно улыбавшегося из своих росистых садов, внизу изогнулась серебристая лента тихой Окши, за ней раскинулась неоглядная ширь заливных лугов с уже поставленными темными шапками бесчисленных стогов, а за лугами виднелись редкие серенькие деревушки и белые колоколенки, а за ними синей тучей облегли горизонт безбрежные леса. И над этими лесами в двух местах жуткими привидениями стояли столбы дыма, золотившегося в лучах поднимавшегося солнышка. День обещал быть солнечным и жарким — значит, пожар разгуляется еще шире...

Он осторожно, чтобы не шуметь, умылся, оделся полегче и сел к своему большому письменному столу, занимавшему вместе с большими книжными шкафами весь перед его просторной, но простой комнаты с толстыми стенами, с двумя большими окнами, с тяжелыми дверями. Он достал из ящика стола толстую тетрадь в синей обложке и стал записывать в нее вчерашнее. В эту тетрадь вообще вносились те его запретные думы, которых, в сущности, никто не запрещал ему высказать и вслух, хотя бы в том же «Окшинском голосе», но которые тем не менее какой-то внутренний цензор никак не пропускал в свет. Об этой тетради не знал никто.

«...Наиболее резко отличающая нас от западных европейцев черта национального характера — это какой-то прирожденный всем нам анархизм, не тот рассуждающий, теоретический анархизм, который знают европейцы, а анархизм стихийный, органический, ничем, кажется, из души нашей не искоренимый, анархизм мягкий и часто не лишённый даже известного очарования. Анархисты наши мужики, но анархисты и наши губернаторы, потому что и те, и другие питают к точному и строгому исполнению закона какое-то органическое отвращение, анархисты наши студенты, которые поступают в университеты совсем не для того, чтобы учиться — учиться совсем не важно, — а для того, чтобы решать, не учась, мировые вопросы и устраивать заговоры против правительства, и анархист наш Петр I, для которого его державная воля была единственным законом, хотя бы и направлялась на устройство всешутейшего и всепьянейшего собора, и анархисты были те мужики, которые бежали от него, антихриста, в глухие леса и сжигали там себя со своими семьями.

В основе этого нашего специфически русского анархизма лежит, как мне кажется, глубочайший, хотя бы часто и бессознательный, скептицизм. Самым ярким, самым полным, самым милым воплощением этой черты нашего национального характера является для меня Платон Каратаев: никто, кажется, не отметил, что в основе его мировоззрения лежит прежде всего глубочайший скептицизм.

Его светлое приятие жизни со всеми ее часто мучительными противоречиями, со всеми ее как будто совсем бессмысленными страданиями и со всей ее, по-видимому, бессмыслицей вытекает у него из стихийного не сознания, а скорее чувства невозможности для человека что-нибудь изменить по своей воле в ее пестрых и таинственных водоворотах. Каратаев ничего не знает и не хочет знать, потому что он инстинктивно угадывает все смешное ничтожество всякого знания человеческого, он не верит ни в какое усилие человеческое, потому что всякое усилие неизменно кончается могилой и овчинка явно не стоит выделки, ему смешно всякое величие человеческое, потому что хаотической, но ясной, анархической, но бесконечно кроткой душой своей он чувствует все ничтожество всякого величия и с особым проникновением воспринимает он — когда воспринимает — удивительные

слова православной вечерни: «Не надейтесь на князи и сыны человеческие, в них бо несть спасения». Он с тихой покорностью выносит плен у Наполеона, но он не хочет даже задавать вопросом о том, правы или не правы были те, которые послали его против Наполеона, оторвав его от семьи, домашнего очага и мирного труда: и тех, и других он покрывает своим тихим, светлым и необидным презрением. В необходимость или полезность борьбы с ними и с кем бы то ни было он не верит и предпочитает просто лучше внешне покориться всякому капралу, который взял палку власти, и умиляется душой и над жертвой палача, и над самим палачом, который, сам того не зная, вершит в конце концов дело Божие, является орудием в руках Божиих. Богатство, власть и всякие другие заманки жизни для Каратаева в конце концов пустяки: «Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытянул — ничего нету».

Сказать, что это исключительно русский дух, было бы несправедливо: Экклезиаст написан тогда, когда о России и помину еще не было, и Марк Аврелий и Паскаль воспитывались не в России, но в то же время этот дух мягкого, светлого, религиозного отрицания праздного шума жизни нигде не веет с такою силой, как в безбрежных пространствах нашей милой России, которые слишком уж наглядно показывают человеку, как бесконечно он мал и как велики окружающие его пустыни жизни. Жутью веет от бескрайней степи нашей, и для победы над ней у человека есть только его немудрый конек, которого он сам же ласково-презрительно зовет «волчьей сытью» и «травяным мешком»; жутки эти темные леса, но против гнездящейся в них нечисти у русского человека есть только молитва, да и то перепутанная: «Господи Иисусе... Микола Угодник... Спаси и сохрани...»; буйно, как моря, гуляют по весне наши могучие реки, а для преодоления их опасных просторов у нас есть только самодельный ботничок, который мы зовем «душегубкой», и смело садимся в эту душегубку только потому, что двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. А раз можно через разгулявшуюся Волгу плыть в ботничке-душегубке, то можно идти с Павлом в безумный индийский поход, с Суворовым переходить Альпы, совсем не понимая, для чего это нужно, и терпеть все то, что мы теперь терпим.

И убедить Платона Каратаева в иной правде нет никакой возможности, потому что эта правда нашей бескрайней родины слишком властно говорит нам. В самом деле, велик как будто был Наполеон на улицах Парижа, но только сунулся он в русский океан и разом превратился в жалкий нуль. Вышина башни Эйфеля, и аэроплан, несущийся за облаками, и подводная лодка, уходящая в глубь океана, нас в величии человека нисколько не убеждают — нам милее видеть это величие в отрицании, в непризнании всякого величия.

Хорошо это или плохо, дело второстепенное, — мне важно лишь отметить, что это так, что эта черта доминирует не только в солдате

Платоне Каратаеве, но и в его фельдмаршале Кутузове, и в вельможе Петре Безухове, несмотря на то, что он становится декабристом, и в их поэте Льве Толстом. Мы все если не видим, то ясно чувствуем, что Россию наши властители теперешние ведут к гибели, а Платон стоит в сторонке и со своей необидной усмешкой говорит тихонько: «Ничего, дружок... Год страдать, а век жить... Червь капусту гложет, а сам допрежь того пропадает...» Он терпит не потому, что у него нет силы сбросить все это, а потому, что жизнь все равно — страдание и человек со всеми ухищрениями его ничтожен...

Что-то от Каратаева лежит и в моей душе. Бороться, говорил вчера Сергей Терентьевич? С кем? Зачем? Ну хорошо, на хуторах мужики будут сытее, ну построят они через речки прочные мосты, ну проведут везде хорошие дороги, ну все будут читать мою газету — да мне-то что до этого?! Разве это увеличит хоть на йоту мое благо в мире или даже и их благо? Ведь те вещи, глубокие строки, которые написал великий старик, описывая Петра Безухова в плену, когда он, босой, голодный и холодный, страдал у костра совершенно точно так же, как раньше он страдал в своей роскошной постели, когда на батистовой простыне образовывалась складочка и мешала ему спать, — эти строки показались мне откровением даже в мои отроческие годы. Как же могу я забыть это, не понимать этого теперь, когда у меня блеснула уже седина на висках? Дело не в страдании, а в моем отношении к страданию...»

В дверь легонько постучали. Мурат с достоинством заворчал. Он отлично знал, что это старая хозяйка, которая так балует его, но он думал, что лучше поворчать: пусть хозяин ценит его бдительность. Евгений Иванович торопливо убрал свою тетрадь и, зная, что это мать, отвечал:

— Да, да... Можно...

В комнату вошла Анфиса Егоровна, старушка среднего роста, плотная, в степенной наколке на совсем седой голове и в мягких туфельках, которые она уютно звала «шептунами». И от всей ее фигуры, от всей ее теперь тихой и ясной жизни веяло этим теплым уютом — так чувствует себя человек в тихой, чисто прибранной комнатке, когда в переднем углу кротко теплится лампадка...

— Ну что, как, не устал вчера? — ласково спросила Анфиса Егоровна сына, любовно глядя на него своими кроткими глазами. — Что Бог дал?

— Восемь штук привез... — отвечал он так же ласково. — А на обратном пути чай пил у Сергея Терентьевича, оттого и к вечернему поезду не попал...

— Ну, слава богу... А я слышу, проснулся, — дай, думаю, зайду, проведаю... Тебе сюда, что ли, кофий-то прислать?

— Да, лучше сюда... Я позаймусь тут немного... — отвечал сын, глядя неволью в сторону.

Ее вопрос, в сущности, значил: «Ты не хочешь видеть жены — хорошо, я устрою это». Он знал, что она знает о его семейной драме, и ему было немного стыдно, хотя он решительно ни в чем не был виноват тут.

— Ну, пиши, пиши, милый... — отвечала старушка. — Федосья Ивановна принесет все сюда...

Она приласкала по пути Мурата, вставшего ей навстречу, и осведомилась, кормили ли уж его. Собак она не любила и думала по-старинному, что там, где лик Божий, то есть иконы, поганым псам не место, но Мурат был собакой любимого сына, и это меняло дело. И, тихонько шаркая своими шептунами, она вышла. А Евгений Иванович снова взялся за свою тетрадь, в которой было немало интимных — и часто жестоких — страниц о его неудачной семейной жизни.

Как, когда, с чего началась эта его тихая драма, сказать было трудно, и еще труднее было сказать, кто в ней был виноват, потому что при внимательном рассмотрении дела было — как всегда в людских делах — видно, что виноваты оба или, точнее, не виноват никто.

Елена Петровна, его жена, когда он познакомился с ней, была свеженькой, миловидной блондинкой с очень решительными суждениями обо всем, но у нее была черточка, которая тогда ему казалась очаровательной: выскажет она какой-нибудь потрясающий и безапелляционный приговор и вдруг вся вспыхнет до корней волос и улыбнется милой, детской, застенчивой улыбкой. Они полюбили друг друга, скоро поженились, и вдруг в секретной тетради — жена о существовании ее не знала — появилась первая жесткая запись:

«Так называемая возвышенная любовь — величайшая ложь, которую неизвестно кто и неизвестно зачем загрозил нашу и без того очень живую жизнь. В самой возвышенной любви физиологический фактор играет огромную, доминирующую роль. Нежность Петрарки к Лауре, пламень Ромео, бешенство Отелло и пр., и пр., и пр. всегда обусловлены переполнением яичек семенной жидкостью. Освобождение организма от напора этой жидкости сейчас же вызывает реакцию, краски поэмы линяют, и Петрарка, и Ромео, и Отелло снова становятся нормальными людьми, а Лаура, Дездемона и Джульетта часто нестерпимо заурядными женщинами. Двухспальная кровать — это могила бесчисленных поэм, сонетов, романсов, симфоний, романов и проч. Эта жуткая правда унижительна, но это — правда, и для меня этим все сказано...

...Попытки Церкви и государства ввести половую силу в рамки потерпели жестокое поражение. Эти призрачные плотины только усилили лживость человеческой жизни, а «греху» придали заманчивой пряности. Но и свободная любовь дела не решает нисколько. Страшная сила эта ломает и корежит жизнь человеческую при всяких внешних условиях, и я выхода — то есть решения так называемого полового вопроса — не вижу ни в чем. Это — мука безвыходная. И что заме-

чательнее всего, так это то, что у животных этого совсем нет. Отбыв свой очень короткий срок ненормального, нелепого, оскорбительного состояния этого, оплодотворив самок, то есть обеспечив жизни продолжение, и собаки, и кошки, и тетерева, и соловьи успокаиваются и делаются свободными. За что мы наказаны так жестоко, в чем причина нашего совершенно исключительного рабства половому инстинкту, я не знаю... Но положение наше ужасно...»

Когда первая, бурная, молодая страсть улеглась, Евгений Иванович с удивлением и испугом заметил, что Елену Петровну ему точно подменили, что это совсем не тот человек, которого он знал раньше, что это — чужой ему человек, а часто — после бурного возврата периодов физического влечения — человек прямо враждебный, непонятно и густо враждебный. В жене была прежде всего одна убийственная для Евгения Ивановича черта неряшливости и беспорядочности в жизни, — как резко отличалась она в этом от Анфисы Егоровны, которая незаметно, но неустанно творила вокруг себя уют и благообразие, точно излучая его из себя без всякого со своей стороны усилия! Елене же Петровне решительно ничего не стоило положить к себе под подушку грязный носовой платок, забыть на ручке кресла заношенные чулки на целый день, по нескольку дней ходить в пальто с оторванной пуговицей. И мать любила старину, обряд, обычай, которые такими красивыми узорами заплетают русскую жизнь и которые Евгений Иванович очень ценил и очень любил, несмотря на то что скептицизм века был не только близок, но и дорог ему. Елена же Петровна стыдилась христосоваться с людьми, первые вербочки ее не умиляли, посты она отрицала, а блины считала обычаем варварским и вредным. В том, что она — вспыхивая — говорила, было много справедливого, пожалуй, и тем не менее все это справедливое было часто возмутительно неуместно. У нее как будто совсем не было того таинственного цензора, который заставил Евгения Ивановича завести свою секретную тетрадь. В старинном особняке их под столетними липами, среди густой сирени, с уютными, теплыми комнатами, с лежанками, с поющими самоварами, со звонкими канарейками, с тихо и кротко сияющими лампадами перед старинными, потемневшими иконами — Анфиса Егоровна не любила новых, «веселых», как говорила она, икон — Елена Петровна ходила какою-то чуждою, серою и холодной тенью, там хлопнув дверью, там оставляя недопитую чашку чая на окне, там в долгом и почему-то непременно горячем споре с гостями неуместным, хотя и вполне справедливым суждением оскорбляя что-то старое и милое, хотя бы и изжитое. И старенькая Анфиса Егоровна тихонько, незаметно, терпеливо эти орехи молодой невестки своей исправляла, а сын незаметно морщился и все реже и реже выходил из своей простой, но теплой, уютной и тихой комнаты-кельи. Он понимал, что она не могла быть иной, но и он не мог перемениться и полюбить то, что ему было органически против-

но. И все чаще и чаще приходили моменты, когда его жена становилась ему противна вся: и манера ее есть, и говорить, и одеваться, все...

И рождение сына, Сережи, а потом маленькой Наташи не улучшило положения, и мать, безумно к детям привязавшаяся, звала златокудрую девочку Тата, а бабушка упорно, но мягко называла ее то Наталочкой, то Наташей, и когда бабушка давала детям кусочек теплой благоухающей ватрушки или свежее, сладкое, душистое яблоко из своего сада, мать приходила в ужас, говорила — вспыхивая, — что это отравы, и отнимала у детишек бабушкин гостинец.

— Но должны же они когда-нибудь, Леля, привыкать ко всякой пище... — говорил Евгений Иванович. — Не век же сидеть им на манной кашке. Ты их слишком нежишь...

Но Елена Петровна, вспыхивая, напоминала о недавнем расстройстве желудка, когда девочку накормили бог знает чем — это были пенки с чудесного малинового варенья, которым славилась вообще мастерица на эти дела Анфиса Егоровна, говорила о требованиях гигиены, ссылаясь на книгу Жука, которая была для нее высшим авторитетом. Евгений Иванович, невольно раздражаясь, возражал. Елена Петровна справедливо, но ужасающе грубо замечала, что мать его невежественна, что из ее восьмерых детей выжил только один Евгений Иванович, что она не хочет быть убийцей своих детей, и прочее. И Евгений Иванович с неприятно бьющимся сердцем торопился уйти к себе, а Елена Петровна раздраженно бралась за последнюю книжку какого-нибудь толстого журнала, которые она читала не столько с удовольствием, сколько из чувства какого-то странного, кем-то придуманного долга. Ей казалось, что это совершенно необходимо, чтобы быть на уровне своего времени, чтобы не опуститься «в это ужасное провинциальное болото», чтобы не «обрасти мохом». Лучшим средством для этого, по ее мнению, было чтение вот этих журналов, строгая критика правительства и длинные и горячие рассуждения о том, что сказал Жорес или Бебель.

Евгений Иванович чрезвычайно крепко и совершенно неожиданно для самого себя привязался к детишкам, и огромною радостью было всегда для него, когда ребята, тоже его очень любившие, прибежали в его комнату и, усевшись к столу, начинали рисовать своих первых «дядей», диких существ с выпученными глазами и бесконечным количеством широко растопыренных пальцев. И между отцом и матерью началась нелепая, но упорная, глухая борьба за сердца детей, и часто бархатные, застенчивые глаза Сережи и голубые, как небо, глазки девочки, чуявших вокруг себя эту глухую и темную борьбу, с недоумением переходили с лица матери на хмурое лицо отца и опять на лицо матери, и Евгению Ивановичу становилось тяжело и немного стыдно, но поделаться с собой он ничего не мог.

— Можно? — спросил от двери низкий и ласковый женский голос.

— Можно, можно, Федосья Ивановна... — отозвался Евгений Иванович, снова отодвигая тетрадь.

В комнату с большим, усталанным чистой, в свежих складочках, салфеткой подносом в руках вошла полная, чистая, благообразная, благостная, с двойным подбородком Федосья Ивановна в свежем переднике, которую старик Василий, дворник, величал «домоправительницей», хотя она была только горничной: так была она величественна. Анфиса Егоровна терпеть не могла всяких этих новых «вертелок с кудряшками» и крепко держалась за свою помощницу, серьезную, работающую и набожную, как и она сама, и свято блюдушую «старинку».

— С добрым утром, Евгений Иванович... — ласково приветствовала хозяйина Федосья Ивановна, ставя на стол поднос с душистым кофе, свежими булочками, густым топленым молоком и свежим, еще пахнущим типографией номером «Окшинского голоса».

— С добрым утром, Федосья Ивановна! — отвечал он. — А как дети?

— Встали... — отвечала Федосья Ивановна. — Сейчас хотели к вам бежать, да мамаша приказали сперва позавтракать...

И в ту же минуту по коридору затукали быстрые ножки, и в комнату вбежал Сережа, черноголовый бледный мальчик с бархатными застенчивыми глазами, и беленькая, розовая, пушистая голубоглазая девочка. И сразу, от порога, она бросилась на шею к просиявшему отцу. Оказалось, ей пришла в голову замечательная мысль: как только у нее отрастут ноготки, мама сейчас же остригает их, а папа у Мурата не остригает, и он стучит ими по полу, бедненький, и ему неудобно. Надо сейчас же остричь их...

— Ну, что же, остриги... — сказал отец, смеясь. — Вот ножницы.

Девчурка торопливо направилась к собаке, которая ласково смотрела на нее своими умными каштановыми глазами и упругим хвостом стучала по коврику. Наташа завладела сильной, мускулистой лапой Мурата и стала пристраиваться для предстоящего туалета. Мурат ласково лизал маленькие ручки и тыкал в них холодным носом: он не понимал, что это будет, но знал, что никто его здесь не обидит.

— Да постой же ты со своим лизаньем! — нетерпеливо говорила девочка. — Ну, лежи же смирно! Ой, папик, какие у него крепкие ногти — ножницы не режут. Да постой же, глупый, тебе же лучше будет!.. Пап, он не дается...

Сережа с покровительственной улыбкой смотрел то на нее, то на отца, как бы говоря: ох уж эти маленькие!

Дверь отворилась, и в комнату вошла Елена Петровна, уже расплывшаяся блондинка, в мятом утреннем платье, небрежно причесанная. Увидев дочь с большими ножницами около собаки, она сразу пришла в ужас и, забыв даже поздороваться с мужем, строго обратилась к дочери:

— Это еще что за глупости, Тата?! — воскликнула она и, когда та, путаясь от волнения, рассказала ей о своем проекте, с раздражением обратилась к мужу: — Как можешь ты допускать такие глупые шалости? А вдруг она обрезала бы ему лапу и он укусил бы ее?

— Мурат! Ее?! — насмешливо бросил Евгений Иванович. — Скорее я укушу вот Федосью Ивановну, чем Мурат Наталочку...

Федосья Ивановна тихо скрылась из комнаты: она знала, что у молодых давно нелады, и стеснялась этим.

— Не понимаю, как можешь ты ручаться за всех собак! — вспыхнув, сказала жена раздраженно.

— Не за всех, а только за Мурата... — поправил ее Евгений Иванович, отводя глаза в сторону и чувствуя уже привычное и неприятное сердцебиение. — Наташа может отрезать ему лапу, а он все же не тронет ее. Ну, дети, возьмите Мурата и выпустите его погулять в сад... — обратился он к детям, чтобы поскорее покончить неприятную сцену. — Только смотрите, чтобы калитка на улицу была заперта...

— Знаю, знаю... — крикнула девочка и тотчас же повелительно командовала: — Ну, Мурат, гулять!

Мурат, оживленно вертя хвостом и стуча когтями по полу, пошел за детьми. Елена Петровна, идя следом, с подчеркнутой заботливостью предупреждала детей об опасностях лестницы. Евгений Иванович, забыв о кофе, опустил голову на руки и думал о чем-то тяжелом. Он был недоволен собой. Тысячи раз давал он себе слово быть сдержаннее, не раздражаться и — не мог. Его цензор был не всегда достаточно бдителен...

Глава IV ЯКОБИЦЫ

Уже вечером Евгений Иванович, все в прежнем подавленном и грустном настроении, вышел из дому, чтобы идти в редакцию. Хотя с газетой он и порвал совершенно, но иногда любил вечерком посидеть там и послушать разговоры и споры ее сотрудников. На обширном зеленом дворе среди старых лип, тополей, черемух и сирени стояло четыре старинных флигеля: два по улице и два во дворе, над рекой. Старик Василий, звонко стуча молотком, починял в сумерках забор. Увидев хозяина, он бросил молоток и подошел. Это был ширококостый седой мужик с ясными, совсем детскими глазами. Отличительной чертой старика было его изумительное мягкосердие: чуть что — и на голубых глазах его уже стоят слезы умиления. И видел он жизнь как-то по-особенному. Раз как-то попал он свидетелем в окружной суд. И вот, когда защитник говорил свою речь, Василий плакал от умиления: «Верно, все верно! Как не пожалеть человека?! Кто без греха?»,

но, когда заговорил прокурор, Василий никак не мог не согласиться и с ним: «Верно, все верно! Потому ежели одному дать озоровать, другому, тогда и всех на дурное потянет. Он вот поозоровал, а дети-то остались сиротами, а старуха ни за что ни про что на тот свет отправилась! Прощтрафился — терпи, брат...» И ему самому было чудно, что он плакал от сознания этой своей слабости, и стыдился своих слез. Евгений Иванович любил старика и пытливо всматривался в него.

— Ну, в чем дело, старина? — спросил он.

— Да в шестом номере, у Сомовых, опять водопровод испортился... — сказал старик. — Сичас ходил к Гаврику — обещал завтра мастера прислать. Только колено придется поставить новое...

— Ну и отлично... — поторопился согласиться хозяин, на которого эти разговоры наводили всегда такое уныние, что часто он малодушно прятался от Василия, предоставляя ему сделать все так, как он сам находит лучше. — А не видал, в редакции наши собрались уже?

— Петр Николаевич, видел, прошли, а других что-то не применил... — отвечал Василий. — Да эта сорока-то еще... как ее?.. Ну, жена ентаго... епутата-то...

— Нина Георгиевна? Что ты как все ее не любишь? — засмеялся Евгений Иванович.

— Ну, что там... Бог с ей совсем... — неодобрительно махнул старик рукой. — Легкая женщина... Да и муж тоже не за свое дело взялся. Ежели ты, скажем, дохтур — лечи, вакат — жуликов там всяких обеляй, а ентот в Питер, в Думу, к самому царю пролез, менистров так и эдак чехвостить. К чему это пристало? Негоже делают? Так возьми да и сделай лутче. Языком-то всякий может вавилоны разводить — нет, ты вот на деле-то себя покажи... И фамилия опять же какая-то чудная — не то он из русских, не то чухна какая, не то жид... Нечего бы вам, батюшка, связываться с ими... От греха подальше лутче...

Евгений Иванович, улыбаясь, пошел было дальше, но Василий опять остановил его.

— Да, а тут все эти... сыщики... жандармы переодетые шляются... — тихо и таинственно проговорил старик. — Все пытаются, кто ходит в газету, что говорят...

— Ну?

— А я обрезаю их, что ходят, дескать, люди всякие, а что касемо разговору, так меня к разговору не приглашают, а ежели бы и пригласили, то толков больших все равно не будет, потому мужицкая голова господского разговору не вмещает: не с того конца затесана!..

— Ну, а они что? — улынулся Евгений Иванович.

— Серчают... И не отстают никак: вынь вот им да положи! А я опять свое: вы должны вникать в дело как следаваит, говорю, а не то чтобы как зря, говорю, потому вам за это жалованье идет. Ты, к примеру, жандарм, я — дворник, а они вот газетой промышляют. Может, в свое время какие имения у них были, какое богатство, а теперь вот,

делать нечего, садись да пиши фальетон, потрафляй... Да... Вон, помню, как еще молодым я был, Похвистнев барин, Галактион Сергеевич, — уж после воли было, — как выедет, бывало, с охотой из своего Подвьязя: лошади — тысячные, собаки эти — ужасты подобны, псари все в бархатных кафтанах, а народику, народику! А теперь вон каждое утро на службу бегают, и пальтишка-то уж в желтизну отдавать стало... Надо понимать, а не то чтобы как зря... Как кусать нечего будет, так и за фальетон сядешь, а не токма что...

Редакция помещалась в одном из передних флигелей, в нижнем этаже, и поэтому, несмотря на плотно завешенные окна, часто можно было видеть, как у этих окон шмыгают какие-то подозрительные фигуры, прислушиваются, стараются найти щелочку, чтобы заглянуть в освещенные комнаты. Редакция слыла у администрации под кличкой «клуба якобинцев», и за ней был установлен постоянный надзор. Это было чрезвычайно неприятно, и Евгению Ивановичу очень хотелось перевести ее во двор, но все квартиры были заняты у него очень почтенными людьми, которые жили тут долгие годы, и тревожить их было совестно, — так и пришлось остаться в непосредственной близости к подозрительным теням, которые шмыгали около окон.

Евгений Иванович вошел во всегда отпертую переднюю. С деревянного, под яшень, дивана поднялся Афанасий, редакционный швейцар, курьер и все что угодно, худенький, шупленький мужичонка с рыженькой бородкой клинышком и кротко мигающими глазками. Афанасий, поступив на это место, привык — он говорил «набаловался» — читать газеты, тонко следил за политикой и стоял в оппозиции к губернским властям, в особенности же к вице-губернатору, глупому, надутому немцу, который цензуровал газету и, когда Афанасий приходил за гранками, рычал на него по-собачьи.

— Все в сборе? — спросил Евгений Иванович.

— Как будто все... — отвечал Афанасий, принимая старую панаму хозяина и его трость.

Соседняя комната, экспедиция, с ее простыми столами, разбросанными старыми номерами газеты, заготовленными бандерольками, была теперь пуста. В следующей, секретарской, за заваленным всякими бумагами столом сидел вихрастый и носастый молоденький студент в косоворотке, Стебельков, которого все звали Мишей; он бегло, но внимательно просматривал недавно полученные столичные газеты и с чрезвычайной ловкостью выстригал из них что-то ножницами, а затем полоски эти быстро склеивал мутным и вонючим гуммиарабиком. Это был «Обзор печати», который Миша умел сдобривать очень ядовитыми замечаниями от себя. Его же собственные произведения были настолько динамитны, что если и пропускал их редактор, то дурак-вице непременно энергично закрепивал красными крестами. Миша сдержанно поздоровался с Евгением Ивановичем. Издатель газеты в душе ему нравился, но он был социал-демократом,

презирал условности и старался презирать хоть немножко эту «буржуазную мокрую курицу».

В следующей, тоже достаточно беспорядочной комнате с портретами всяких писателей по стенам — тут были и Толстой, и Некрасов, и Михайловский, и Пушкин, и даже почему-то Байрон — помещался кабинет редактора, который и сидел теперь за ярко освещенным письменным столом над кучей закрешенных красным карандашом корректур.

Редактором «Окшинского голоса» был Петр Николаевич Дружков, довольно известный юрист из местных совершенно прогоревших помещиков, который толково популяризировал для простого народа в ряде дешевых брошюр русских законы: он был убежден, что недостаток в народе юридических познаний — одно из величайших зол России. Маленький, худенький, с круглым и плоским лицом и вишащими вниз худосочными усами, в очках, Петр Николаевич до странности походил на переодетого китайца. Он был совершенно помешан на гигиене и в кармане своего очень либерального размахая всегда носил маленький пульверизатор с дезинфицирующей жидкостью и от времени до времени где-нибудь в укромном уголке прыскал из него себе на руки и на одежду. На базар рано поутру он, человек совершенно одинокий, ходил всегда сам и выбирал самые доброкачественные продукты, которые и варил собственноручно на керосинке, заботясь не столько о вкусе, сколько о питательности и гигиеничности своих блюд. Над керосинкой, на стене, была приколата булавочкой собственноручно составленная Петром Николаевичем табличка, которая показывала количество калорий в том или ином продукте, степень его переваримости и прочее.

Вокруг него на диване и стульях сидели в тени абажура его постоянные сотрудники: князь Алексей Сергеевич Муромский, совершенно разорившийся Рюрикович, внук знаменитого декабриста и сам выборжец, человек лет под пятьдесят, с черной бесформенной бородой, с жидкими волосами, плохо видящими — больше от рассеянности — глазами, с каким-то рыдающим смехом и совершенно монашеской и беззлой душой. Рядом с ним кокетливо прижалась в уголке дивана Нина Георгиевна Мольденке, которую не любил Василий, жена очень радикального думского депутата, эффективная, всегда красиво одетая брюнетка со жгучими глазами, которая поставляла газете переводы новейших французских и немецких авторов; переводы ее были не бог весть как талантливы, но с ней, как с женой влиятельного депутата, считались. У дверей в соседнюю комнату, отведенную для занятий постоянных сотрудников и под библиотеку, прислонившись к косяку, стоял земский секретарь Евдоким Яковлевич Каширин, худой, чахоточный эсер, человек весьма раздражительный и большой любитель и знаток местной старины. Он жил со своей семьей в большой нужде и очень часто подвергался

всяким ущемлениям со стороны властей — до острога и высылки включительно. В простенке между окнами сидел, подвернув под себя толстую ногу, Сергей Васильевич Станкевич, огромный, волосатый, тяжелый господин лет тридцати в строгих золотых очках. Он был довольно видным литератором и исследователем русского сектантства и был выслан сюда на жительство из Петербурга на один год. На словах это был человек ярости прямо беспредельной, но с душой беззащитной, страшный фантазер, находившийся в рабской зависимости у своей истерички-жены. В темном уголке сгорбился на венском стуле Григорий Николаевич Чага, в молодости инженер путей сообщения, а теперь аскет и йог, предававшийся посту, молитве и жизни созерцательной, невысокого роста блондин лет тридцати пяти с жидкой желтой бородкой, в сломанных очках, из-за которых мягко и ласково смотрели серенькие глаза, в убогой блузе и каких-то веревочных сандалиях: употребление кожи животных для обуви он, вегетарианец, считал большим грехом.

— А-а, милый хозяин наш! — с добродушной иронией встретил Евгения Ивановича редактор, поднимаясь ему навстречу. — Милости просим!

И он с шутливой почтительностью подвинул ему свое кресло, а сам подошел к окнам и поправил занавески так, чтобы щелочек с улицы не было совсем. Евгений Иванович отстранил его кресло и сел на стул к блестящей своими старинными изразцами — в таких синих простеньких рамках — печи.

— А мы горюем тут над опустошениями, которые произвели варвары в наших трудах... — сказал Петр Николаевич, хлопая рукой по закрашенным гранкам. — Такого погрома давно уже не было... И на Афанасия рявкнул так, что тот едва ноги унес... И говорят, что сам перестал даже доверять дураку-вице и теперь будто цензурует нас собственной персоной...

— На собрании нашей партии я только вчера говорил: нам надо очнуться от этой нашей летаргии и снова взяться за наши испытанные средства, за бомбы... — побледнев от раздражения, проговорил Евдоким Яковлевич. — Другого языка эти наглецы не понимают...

— Бомбы, яды, револьверы, все средства в борьбе с этими господами хороши и допустимы... — зло блеснув очками, завозился на своем стуле грузный Станкевич.

— Ну, вы там как хотите с вашими бомбами... — засмеялся своим рыдающим смехом князь, — а я со своей стороны предлагаю собрать весь этот материал и послать его кому-нибудь из думских депутатов для соответствующего запроса правительству...

— Конечно, это было бы полезно... — сказал Петр Николаевич, поглаживая свои китайские усы. — Но я думал бы, что не следует оглашать, из какого города, из какой газеты весь этот материал получен, а то здесь нас съедят живьем: до Бога высоко, до Думы дале-

ко... Вы посмотрите, Евгений Иванович, что они только наделали — это настоящее издевательство! Это вот фельетон нашего Миши о воскресных школах — вылетел весь, и, вот посмотрите, в бешенстве черкнул карандашом так, что всю гранку разорвал. Вот народный рассказ Сергея Терентьевича — изуродован так, что узнать нельзя. Смотрите: один из героев говорит другому «ступай к лешему» — это вычеркнуто и на полях вот написано: «ругаться неприлично». Из отчета о последнем заседании городской думы вычеркнута вся речь члена управы Сапожникова о церковно-приходских школах. Вчера весь номер пришлось переверстывать — всю ночь возились... Афанасий два раза за ночь бегал к губернатору за гранками и пришел в таком настроении, что, боюсь, вместе с Евдокимом Яковлевичем за бомбы тоже возьмется...

— В сущности все эти наши писания под надзором нянек только одно пустое толчение воды в ступе... — так же раздраженно сказал Евдоким Яковлевич. — Может быть, мы сделали бы больше дела, если бы закрыли газету сами, да с треском: не имея возможности при данных условиях честно служить родине, вынуждены... и прочее.

— Ужасно испугаются они этого! — заметил Станкевич. — Будут весьма даже обязаны...

Нина Георгиевна рассмеялась.

— Но, господа, прежде всего в этой комнате нестерпимая духота... — сказала она. — Если уж нельзя открывать форточек, может быть, нам лучше собираться в соседней комнате, по крайней мере, там можно окна во двор открыть...

— А почему вы думаете, что ушей нет и во дворе? — прорыдал князь. — Нет, господа, я решительно против всяких радикальных выступлений: ни бомб, ни закрытия газеты. Нельзя делать большое дело, будем делать маленькое, пока Евгению Ивановичу не надоест давать нам денег. Все-таки газета влияет на общественное мнение, все-таки она сплачивает культурные круги общества для совместной работы...

Сплачивание сил общества для совместной работы было одной из его любимых мыслей: он верил, что это возможно и очень хорошо.

— И я думаю, что лучше делать немного, чем не делать ничего... — сказал Григорий Николаевич. — В борьбе совершенствуются силы...

— Нечего сказать: усовершенствовались! — опять засмеялась Нина Георгиевна. — Мы дышим только Божией милостью. Захотят и разгонят, и вся недолга. Они наглеют все более и более...

— Мое дело тут сторона, господа... — сказал Евгений Иванович, и в глазах его мелькнуло на мгновение страдальческое выражение. — Решайте как хотите... Поддерживать газету я согласен и вперед...

— И спасибо... — тепло сказал князь, собирая со стола закрешенные гранки. — Ну, я пройду к Мише, посмотрю, что у него еще есть

остренького из этой области, и, сделав подбор, все же в Петербург с соответственным докладом пошлю. Будем воевать, пока есть порох в пороховницах...

— Другого ничего и не остается... — сказал Петр Николаевич, которому закрытие газеты прежде всего грозило потерей большей части его заработка.

— Погодите, князь, минутку: у меня есть сенсационная новость... — сказала Нина Георгиевна. — Известно ли вам, господа, что к нам в Окшинск пожаловал сам Григорий Ефимович Распутин?

— Не может быть! Зачем? — послышалось со всех сторон. — Это действительно сенсация, надо в завтрашнем номере порадовать окшинцев... Да верно ли, смотрите?

— Совершенно верно. Остановился у губернатора...

— Вот это так да!..

Редакция возбужденно зашумела. Князь вышел к Мише и вместе с ним занялся подбором цензурных безобразий губернаторской канцелярии. Букет получался весьма пышный. Миша, оглянувшись на редакторскую, где гудели голоса сотрудников, тихонько сказал князю:

— Алексей Сергеевич, мне надо бы поговорить с вами по очень серьезному делу... Пойдемте в экспедицию...

Он никогда не говорил «князь», считая это отжившим предрассудком, но все же к князю относился с большой симпатией, потому что и шляпа у князя была старенькая, и брючонки дешевые, и твердо служил он народному делу, хотя и совсем не так, как было нужно Мише. И неприятно было Мише, кроме того, что в скромной квартирке князя по стенам висели помутневшие, точно прокопченные портреты его предков в париках, панцирях, пышных плащах, с дланью, простертой вперед, со свитками их трудов, со шпагами... Миша поражался, как такой умный человек может утешаться такими портретами: в конце концов все произошло ведь от обезьяны.

— В чем дело? — взглянув на его бледное и серьезное лицо, проговорил князь, когда они вышли в соседнюю комнату.

— Но все это должно быть строго между нами, Алексей Сергеевич, — сказал Миша, волнуясь. — Вы даете слово?

— Даю, даю... — засмеялся князь. — Вот заговорщик!

— Нет, Алексей Сергеевич, это очень, очень серьезно... — сказал Миша. — Это ужасно... но я видел своими глазами...

Он даже задохнулся немножко от волнения.

— Да в чем дело?

— Вчера поздно вечером я видел совершенно случайно, как наша Нина Георгиевна под густой вуалью вышла от полковника Борсука...

— От жандарма? — тихонько воскликнул князь.

— Да...

Князь громко расхохотался, чего с ним никогда почти не бывало, и все повторял:

— Ах, комик! Вот комик!.. Ну уж подлинно, что у страха глаза велики...

— Я вас предупредил, Алексей Сергеевич, что это очень серьезно... — повторил Миша сердито. — Я своим глазам не поверил, но все же это так.

— Миша, милый, вы наяву бредите! Подумайте: жена Мольденке, одного из активнейших вожakov левого крыла Думы... Да побойтесь вы Бога!..

— В чем дело? — прозвучал мелодичный голос Нины Георгиевны. — Вы так смеетесь, князь, что мне прямо завидно стало...

— Нет, у нас тут свои дела... — не глядя на нее, холодно отвечал Миша.

Она пристально посмотрела на него, но ничего не сказала. Князь все смеялся и трепал по плечу Мишу. Тот зло хмурился. Петр Николаевич, выйдя в темную соседнюю библиотеку, прыскал осторожно из пульверизатора себе на руки: он побаивался туберкулеза Евдокима Яковлевича, с которым он только что простился за руку...

Глава V В ТЕМНОТЕ

Члены редакции, за исключением Петра Николаевича и Миши, которые остались дожидаться Афанасия от губернатора, вышли на улицу. Была теплая ночь, и домой не хотелось никому, но Нину Георгиевну ждал с чаем муж, князю нужно было идти готовить доклад в Петербург, а Станкевич побежал к жене, которая терпеть не могла, когда он оставлял ее одну надолго. Евгений Иванович с Евдокимом Яковлевичем и Григорием Николаевичем вышли на бульвар, что тянулся обрывом по самому берегу Окши. На бульваре было пустынно, только изредка смутно темнели в боковых аллеях парочки влюбленных. Направо чуть мерцала внизу река, а за нею, над темной землей, над лесами, стояло мутно-багровое зарево пожара. Налево смутно белели и в темноте казались огромными старые, чуть не тысячелетние соборы, золотые купола которых слабо светились вверх, под звездами, а за соборами горел огнями большой и белый губернаторский дом. В теплом воздухе слышался чуть заметный привкус гари. И было почему-то грустно, и грусть эта смягчила душу — хотелось говорить просто и задушевно...

— Какое освещение у губернатора... — заметил Григорий Николаевич. — Гости высокого чествуют, что ли...

— А ну их всех к черту... — нетерпеливо отозвался Евдоким Яковлевич.

Помолчали.

— Ну, что же, прочитали вы Никодима Святогорца? — спросил Григорий Николаевич Евгения Ивановича. — Понравилось?

— Чрезвычайно интересная книга... то есть как человеческого документ... — сказал Евгений Иванович. — Но это не для меня...

— Почему? — тихо сказал Григорий Николаевич. — Тут надо подходить не умом, а сердцем. И главное, тут опыт. Попробуйте, и вы увидите благо этой «невидимой брани» и силу умной молитвы...

— А вы прибегаете к умной молитве? — спросил Евгений Иванович ласково.

— Да... — душевно и тепло ответил тот. — Только я беру не молитву Иисусову, а составил себе свою, в которой в четырех всего словах я постарался выразить всю свою веру...

— Не секрет, как это у вас вышло?

— Почему же секрет? — тихонько удивился Григорий Николаевич, и было слышно, как он улыбнулся. — Нисколько не секрет. Моя умная молитва вот: «Отец — братья — любовь — распятые...» И больше ничего. То есть другими словами: Отец наш общий — Бог, люди все — братья, высший закон жизни — Любовь, а высшая награда — Распятые...

И эти большие слова вышли у него так просто и хорошо, что все некоторое время молчали. Внизу поблескивала река. Вверху в удивительных безднах шевелились и играли звезды.

— И что же это... ну, помогает?

— Помогает... — отвечал Григорий Николаевич. — Жизнь делается важнее, значительнее, строже и чище, а самое важное — легче, с меньшим усилием любишь людей...

— Нет, а я вот все думаю о той мысли, которую вы как будто нечаянно обронили и которая буквально сразила меня... — сказал Евдоким Яковлевиц как всегда горячо. — Помните, когда говорили мы по поводу нашей Сонечки Чепелевецкой о еврейском вопросе?

— Да. Но я не помню, чтобы я сказал тогда что-нибудь особенное... — слегка насторожился Евгений Иванович.

— Вы сказали, что если признать, что еврейство — зло и что с ним необходимо бороться, то — чтобы быть логичным — надо прежде всего отказаться от христианства, которое является по существу лишь одной из еврейских сект...

— Это очень интересно... — сказал Григорий Николаевич. — Конечно, это так. В те времена была школа саддукеев, школа фарисеев и школа ессеев, из которой, по-видимому, и выделилось христианство. И как это всегда бывает в развитии сектантства, секта христиан стала во враждебное отношение к религии-матери, а та — к ней. Это очень интересно. Для меня, разумеется, нет племенных или религиозных различий, но теоретически это интересно...

Евгений Иванович был не совсем доволен, что эта мысль, обманув бдительность его цензора, выскочила из его тетрадки, но делать было

нечего. И так в эти тихие минуты теплой ночи было уютно на черной земле, под милыми звездами, что он не только не замаял этого разговора, но охотно поддержал его, хотя и чувствовал — как это с ним часто бывало, — что потом он будет каяться.

— Вы должны были заметить, что я начал с «если»... — сказал он тихо. — Если признать еврейство злом, если признать необходимость борьбы с ним, то... и так далее. Все — условно...

— Понимаю, понимаю... — нетерпеливо перебил его Евдоким Яковлевич, давая понять, что теперь, в темноте, наедине, эти предосторожности совсем не нужны. — Это все равно. Мысль тем не менее огромная, и она завладела всем моим существом. Я буквально не спал все эти ночи... Видите ли... может быть, как социалисту, мне и недопустимо говорить это, но... это сильнее меня... это голос крови, что ли... но евреев я не люблю... органически не люблю... И хорош, и мил, и все что хотите, но точно вот какая-то стена между ними и мною, которую я уничтожить никак не могу, хотя и хотел бы. В нашей газете я, конечно, этого не скажу, но теперь, говоря по душам, сказать своим людям хочется...

— А почему нельзя в газете? — полюбопытствовал Евгений Иванович.

— Потом, потом!.. — нетерпеливо отозвался Евдоким Яковлевич. — Об этих пустяках потом, а то это заведет нас в такие дебри Индостана, что и не выберешься. Давайте говорить сейчас о главном. А главное вот что: здесь, в этой вот нашей старой окшинской земле, мы — хозяева, а они — гости, и гости эти часто... надоедают. И я хочу, чтобы они не надоедали мне — ну, что ли, ушли бы куда, черт их совсем дери... — рассердился он на себя. — Значит, борьба нужна... Не погром, не идиотская черта оседлости — все это озорство и глупость... — нет, а надо как-то органически обезвредить их... И вдруг вы подсказываете эту воистину огромную мысль: надо убить христианство, потому что христианство — это еврейство, еврейство самое несомненное, ибо все это есть и в Исаии, и у ессеев, и у александрийцев... И мысль, логически вполне правильная, меня ужасает... даже меня, русского социалиста... то есть, видимо, сперва русского, а потом уже и социалиста. Это значит, надо вычеркнуть из истории нашей всю тысячелетнюю ошибку Владимира Красного Солнышка... и эти вот соборы... которые татар видели в своих стенах... и «свете тихий святые славы» за вечерней... и красный звон на Святой... и все, все, в чем мы выросли... Мыслью я согласен с вами, но выводы ужасают...

— Ах, боже мой, да зачем же вы принимаете так трагически мою чисто академическую и даже прямо случайную мысль?! — воскликнул неволью Евгений Иванович.

— Во мне она перестала быть академической, но приобрела плоть и кровь и стала усиленно жить... — твердо отвечал Евдоким Яковлевич, которому всякие ненужные замечания мешали и которому пред-

ставлялось очень важным высказать свои новые мысли по этому поводу. — Вы подождите, дайте я выскажу сперва все... Ну, вот... Вы знаете, что я люблю нашу старину, занимаюсь ею и как будто кое-что знаю. Да... И я стал думать — так, что спать не мог. Христиане ли мы в истинном смысле этого слова? Конечно, ни в малейшей степени: вся наша современная культура есть царство Антихриста, как это превосходно подметил народ еще со времен Петра Первого. Так... — укрепил он и, усиленно думая, продолжал: — Я не хочу гадать, что было бы, если бы Владимир не сделал этой своей роковой ошибки. Я хочу только констатировать, что его попытка оказалась бесплодной: христианство — или, может быть, лучше сказать более точно: религия Византии... совсем не имела того «смягчающего» влияния на наши нравы, о котором говорят все хрестоматии и Иловайский: веселие Руси было и осталось пити и пити без конца, удельные кровопролития и вероломство, Иван Грозный, громоздящий горы трупов, бесстыжее кощунство Петра при молчаливом попустительстве князей Церкви, суздальские казематы и драгоценные митры архиереев над разутым, темным и вшивым народом — достаточно говорят об этом и катехизис Филарета, самая мертвая из всех книг, и тупой Торквемада-Победоносцев «венчают здание». Это — наверху. А внизу — домовые, русалки, лешие, Перун, переодевшийся Ильей-пророком, и Пяденица, ставшая матушкой Параскевой Пятницей, и колдуны, и кикиморы, и семики, все живо и все еще полно сил и кружится шумным хороводом вокруг древних огней Ивана Купалы, которые еще не угасли. А тризны-поминки? А блины, знаменующие возвращающееся Солнце? А ряженые на святках? Владимир с Византией не победили нашего древнего язычества, нашего простого, солнечного, раздольного пантеизма, хотя тысячу лет почти давят его попы... Мы не христиане — мы христиане только по имени... И может быть, нам в самом деле следовало бы сбросить с себя эту чужую, номинальную веру, это тяжелое иго мертвеца-Византии и дать ожить своей старой славянской вере, тесно связанной с нашей родной землей, а не привезенной из Иудеи, виа Александрия-Византия-Киев? Постойте, постойте... дайте же досказать!.. Я сейчас кончу... Вот... Мне будет самому жаль расстаться и с нашими старенькими церковками, и с «свете тихий святые славы...», но разве этот «свете тихий» не можем мы петь нашему языческому Солнцу, когда оно спускается за наши равнины? И вон там, в темноте, — показал он вдоль реки, — лежит тихий теперь, старый Ярилин Дол. Разве мне не жаль, что он покинут и забыт всеми нами, правнуками тех, которые буйно плясали там вокруг огней, веселя светлого Ярилу и нежного Леля? Скажите мне ради всего святого: за каким чертом калечим мы миллионы детских душ бессмысленным набором мертвых слов катехизиса Филарета, который будто бы составляет основу нашей веры, когда эти самые молодые души с восторгом, с упоением и боготворили бы зеленую землю с ее чарующими таинст-

вами, и, трепеща от восторга, поклонялись бы блистающему Перуну и наслаждались бы видом вот этих светлых стад Велесовых? — поднял он свое бледное в темноте лицо к звездам. — Почему, каким колдовством приведен я в темную церковь, чтобы лежать там ниц перед нелепой сказкой о мертвом еврее, когда я, славянин, сын своей земли, хочу носиться в пьяном хороводе среди горячих языческих огней, зажженных моими прямыми предками?! — воскликнул чахоточный лысеющий человек среди смутно-белых громад древних соборов. — Дурак Наполеон гордился тем, что на его глупость смотрят сорок веков пирамид, — вот эти соборы почти тысячу лет смотрят на нашу непостижимую глупость, которая задавила старую, солнечную, простую мудрость детей Земли, населявших Древнюю Русь! Зачем задушили мы радости земли черной мантией монаха? Неизвестно! Вот он творит какую-то там молитву Иисусову... — кивнул он в темноте на Григория Николаевича, — он говорит чудовищную вещь, что главная награда жизни — это распятие, так учили старички из фиваидских пещер; а наши старцы говорили нам, что главная цель жизни и ее смысл и ее награда — это жизнь, то есть радость... И я вот хочу проповедовать бунт! Долой чужие истлевшие саваны — будем скакать вокруг огней Ивана Купалы в венках из свежих цветов, любить без запрета, сражаться, охотиться, испуленно целовать родную землю, молиться нашему родному северному небу, где не сидит еврейский бог Саваоф, а пасет раздольно свои стада наш родной славянский Велес!..

И чахоточный лысеющий человек, которого то и дело перегоняли из ссылки в острог, а из острога в ссылку, сняв свою старую шляпу, вытер со лба пот: он устал.

— И подумать, что все это по поводу Сонечки Чепелевцевой! — усмехнулся только Евгений Иванович.

— При чем тут Сонечка? — с неудовольствием отозвался Евдоким Яковлевич. — Сонечка тут только с боку припека. Сонечка — это то яблоко, которое раскрыло Ньютону закон тяготения... Что православие умирает, это ясно всякому чуткому человеку. Григорий Николаевич вот и с ним тысячи тысяч сектантов пробиваются от наших бесталанных батюшек к фиваидским старцам, а я говорю: пойдете к старцам своим, к тем, чей прах мы попираем теперь вот ногами...

— Но ведь все это только красивые фантазии... — сказал Евгений Иванович. — Что умерло, то не воскресает...

— Вот! — насмешливо уронил Евдоким Яковлевич. — Почему это более умерло, чем... мертвый еврей, которому мы поклоняемся в нашей земле? Живая вода лишь замутилась, и наш языческий Светлояр нужно только очистить от поповской копоти... Фантазия, говорите вы? Ну и пусть фантазия — лучше жить красивой фантазией, чем некрасивой действительностью...

— Ну, с этим, пожалуй, я спорить не буду... — мирно и душевно сказал Евгений Иванович. — Хотя... — Он запнулся.

— Что же вы замолчали? Что «хотя»?

— Хотя... Григорий Николаевич будет вот творить умную молитву, вы будете восстаивать поверженные Владимиром перуны, ученые общества заседают, политики спорят, музыка гремит, штандарт скачет, а... а мужики вокруг ругаются матерно и утопают в водке и гниют в сифилисе...

Наступило продолжительное молчание. Среди звезд мерцали золоченые купола старых соборов, внизу катила свои тихие воды старая Окша, и темнели по горизонту лесные пустыни, над которыми все стояло широкое, мутно-багровое зарево.

— Мужики... — тихо и печально повторил Евдоким Яковлевич. — Кошмар!.. И что вас дернуло... напоминать? Ведь имеем же мы право отдохнуть хоть немножко, хоть изредка...

— Как же отдыхать, когда под ногами... трясина? — так же тихо отозвался Григорий Николаевич. — И... может быть, все... эти устремления наши... только соломинка, за которую хватается утопающий?

И опять начался надрывный разговор, единственным осязательным результатом которого было ясное сознание безвыходности.

И долго в эту ночь светился синий огонек лампы в широко раскрытые окна Евгения Ивановича, и в его секретной тетради прибавилось еще несколько страничек.

«Интересный вечер... — писал он. — Всех этих людей, несмотря на все их резкие различия между собой, объединяет одна общая черта: необычайная, идолопоклонническая вера их в силу идеи и слова человеческого и вытекающая из этой веры необычайная, самодержавная власть идеи над ними. Все они люди более или менее образованные и, во всяком случае, начитанные, и потому, казалось бы, они должны были бы знать, продумать до конца режущий глаза факт быстрой смены идей, владеющих человечеством, необычайное разнообразие и противоречивость и легковесность бесчисленных правд человеческих, одна другую страстно пожирающих, одна другую с величайшим напряжением стремящихся превратить в ложь. Но, точно пораженные какою-то странной слепотой, они этой единственной бесспорной правды не видят, и каждый страстно верит в свою личную маленькую правду, как в единую вселенскую спасающую истину...

Но не это самое интересное. Это я отметил у себя уже давно, и не раз. Самое интересное было то, что сегодня я наглядно убедился, что тот таинственный цензор, которого присутствие я так остро чувствую в себе, есть и в них. Евдоким Яковлевич говорит и пишет, что он эсэр, он за свое эсэрство терпит всяческие зашумения, но вот совершенно случайно оброненной и незрелой мыслью я оцарапал его и в темноте, под звездами, он убежденно и горячо говорит совсем другое, о чем в своих дневных речах и статьях «для всех» он упорно молчит! В темноте он не интернационалист, а русский до дна души, не атеист, а взыс-

кующий Бога, то есть авансом Его бытие признающий, не шаблонный газетчик, а человек со своим лицом. Григорий Николаевич — подвижник и йог и человек воистину святой жизни, но наедине, в хорошие минуты, когда спадают покровы с Изиды души, он боится, что то, во что он силится верить, только соломинка, за которую хватается утопающий. И вот встает вопрос: кто же, что же этот таинственный цензор, который не дает нам говорить то, что мы действительно думаем, который, другими словами, заставляет нас лгать? И когда ушли они и я остался один, я со всей силой и со всей искренностью, на которые я только способен, снова и снова поставил себе этот жуткий вопрос и вот не нахожу ответа! Робость пред общественным мнением? Я этим не очень страдаю и еще менее Евдоким Яковлевич, который за эту борьбу с общественным мнением не выходит из скорпионов, и еще менее Григорий Николаевич, который бесстрашно ходит в своих веревочных бахилках всюду и не стыдится. Деликатность, нежелание лезть вперед? Любовь к близким? Ведь как была бы огорчена, например, моя милая старушка, если бы прочитала она эти горькие строки ее ни во что твердо не верящего сына!.. Не знаю, не знаю! Или, может быть, просто нежелание обнажать свою душу? Но боже мой, как же можно из-за этого лгать, как же можно жить с душой фальшивой?!

И я написал вот, что этот вопрос — жуткий. Да. Но сегодня я как-то особенно ярко почувствовал в темноте, когда мы говорили, что странной жути исполнена вся наша жизнь: жутка тайна нашего, по-видимому, совсем ненужного рождения, жутка тайна напряженной суеты нашей жизни, жутка черная тайна смерти... Не помню, где прочел я недавно французскую шутку:

La vie est breve:
Un peu d'espoir,
Un peu de reve
Et puis bonsoir!¹

Неужели в самом деле только и всего?

Ну как же это не жутко, когда мы не умеем ответить себе даже на такой вопрос? Правда, слов наговорить по этому поводу мы можем сколько угодно, и слов возвышенных и красивых, можем наделать массу благородных жестов на удивление галерки, но по существу-то, по существу-то что тут сказать?!»

В темном небе мерцали и роились прекрасные звезды, и лениво и сонно перекликались иногда в насторожившейся ночной тишине древние островерхие колоколенки, устало отмечавшие колоколами

¹ Жизнь коротка:
Надежды чуть-чуть,
Мечтаний слегка
И все... в добрый путь! (фр.)

течение тихих часов ночи, где-то далеко звонко стучал в свою коло-тушку сторож и упорно лаяла собака. В углу, на своем матрасике, мирно и сладко спал Мурат. Вокруг синего абажура кружились, бились о горячее стекло и умирали ночные бабочки, а из-за стекол шкафа смотрели книги, большею частью исторические: и Диодор Сицилийский, и «Записки барона де Бац», и Светоний, и «Дневник» Марии Башкирцевой, и Ригведы, и русские историки...

Глава VI ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

В то время как Евгений Иванович со своими приятелями ходил взад и вперед по пустынному темному бульвару над чуть мерцавшей внизу старой Окшей, в большом, белом, с полосатыми будками у подъезда и ярко освещенном доме губернатора происходила в интимном кругу не совсем обычная вечеринка. Проездом через Окшинск из своего богатого волжского имения в Петербург к губернатору заехал на несколько часов граф Михаил Михайлович Саломатин, богатый помещик и камергер, на сестре которого был женат губернатор. Уже садясь в Нижнем на курьерский поезд, граф встретил на перроне Григория Ефимовича Распутина, сибирского мужика, который каким-то чудом проник во дворец и еще большим чудом приобрел там сразу удивительное влияние и силу. И графу, человеку любопытному, захотелось узнать поближе этого сибиряка, которого он встречал до сих пор в обществе только мимоходом. Они сели в один вагон, причем граф обеспечил себе на ночь отдельное купе: он был брезглив, а этот — черт его дери... — еще развесит на ночь свои вонючие портянки в купе. Да и вообще... И чтобы *erater*¹ свою сестру-губернаторшу этой знаменитостью, он уговорил старца навестить вместе с ним своих родственников, на что Григорий без особого труда и согласился.

Теперь в уютной красной гостиной в ожидании ужина сидел губернатор со своими гостями. Большое общество губернаторша сочла невозможным собирать, чтобы не производить сенсации и шума, — репутация Григория была все же двусмысленна, а кроме того, просто времени не было оповестить всех. И потому в уютной гостиной, с подчеркнuto большим и старинным образом в углу, портретами царской семьи и Ивана Кронштадтского на столах и по стенам, кроме двух проезжих гостей, было всего пятеро: сам губернатор Борис Иванович фон Штирен, высокий, представительный немец с длинной квадратной бородой, прикрывавшей поверх мундира истинно русскую и истинно православную душу, его супруга Варвара Михайловна, полная дама с жидкими бесцветными волосами и глуповатым ли-

¹ Паразить (*фр.*).

цом; вице-губернатор Карл Петрович фон Ридель, человек лет под пятьдесят, с бравой военной выправкой, с лицом, отдаленно напоминавшим Николая I, чем Ридель весьма гордился и старался и в жизни, и в делах управления подражать этому государю: был суров, отрывист и убежден в том, что он все знает лучше всех, его жена Лариса Сергеевна, кругленькая, удивительно сохранившаяся и очень хорошенькая брюнетка с бойкими черными глазками, которыми она стреляла с поразительным искусством; и, наконец, местный архиерей отец Смарагд, седенький сухенький старичок с жадными колючими глазами и тонкими, прямо вытянутыми и бледными губами, как говорили все, великий постник и молитвенник. Сибирский гость — в бледно-лиловой шелковой рубаше навыпуск и высоких, хорошо начищенных сапогах, аккуратно расчесанный — держался уверенно и спокойно. Это был мужик роста повыше среднего, худошавый, но ширококостый, с бледно-землистым цветом лица, большой темной бородой и странными глазами, смотревшими из-под густых навесов бровей пристально и умно. Иногда глаза эти наливались точно свинцом, и тогда взгляд их не только проникал в душу собеседника, но ощущался почти физически, как прикосновение, и прикосновение тяжелое, холодное, неприятное. Григорий догадывался об этом свойстве своего взгляда и берегся, прятал его...

Граф — небольшого роста, просто одетый, с живым выразительным лицом и черными глазами — был несколько удивлен и даже шокирован тем не только почтительным, но даже подобострастным приемом, который был оказан в губернаторском доме его дорожному компаньону. Сам он установил с Григорием тон шуточный и независимый, не без некоторой иронии, которой, по его мнению, «этот мужик» понять не мог: оскорбить его граф, человек осторожный, себе на уме, нисколько не хотел, так как иметь его врагом было не только невыгодно, но даже и опасно. Но Григорий уловил эти обидные нотки в обращении графа и обиделся. «Ну, погоди, дай срок... — подумал он мимолетно. — Не велика птица!..»

Разговор подобострастно вертелся вокруг царской семьи, а в особенности вокруг больного цесаревича. Граф держался молчаливо и рассматривал альбомы недавнего путешествия царя в этот окшинский край, потом к гробнице князя Д. М. Пожарского в Суздаль, а оттуда в Кострому, к колыбели его династии...

Граф Михаил Михайлович был не только очень образованный, но даже почти ученый человек. В Древнем мире он был как дома, мог целыми страницами цитировать греческих и латинских авторов, легко и красиво писал стихи и по-французски, и по-итальянски и любил иметь на все собственный и по возможности оригинальный взгляд, который свидетельствовал бы всем о его полной независимости. На Россию граф отчасти поэтому смотрел подозрительно, с недоверием. Само существование ее на песках и болотах под

шестидесятым градусом северной широты он считал парадоксом и был убежден, что это историческое чудо было сделано усилием нескольких исключительно даровитых поколений во главе с императорами вроде Петра I или Николая I и что чудо это в наш усталый, сумеречный век продолжаться не может. Основное несчастье России в том, что, дочь азиатского Хаоса и Анархии, она не имеет, как другие европейские государства, под собой прочного фундамента греко-римской культуры. В будущее ее граф не верил и потому всячески старался приумножать свои личные достоинства и временами возил деньги в английский банк. Он был скуп до мелочности и даже бессердечен: в своем богатом имении он питался почти одним кислым молоком — утверждая, что умеренность в пище очень полезна, причем приводил ряд цитат из древних авторов, а официантам в ресторанах или на вокзалах давал самые жалкие гроши, потому что нельзя развращать народ сумасшедшими подачками, и говорил, что не выносит никаких жалоб.

— Когда мне плачут в жилет, *je me raidis...*¹ — говорил он.

Положений, когда люди плачут не «в жилет», а просто плачут, он не допускал: так было удобнее.

Словом, это был человек, интеллект которого расцвел пышным пустоцветом, а все остальные стороны души человеческой в нем были задавлены и принесены в жертву Bank of England². И его не любили — в особенности простой народ и дети, чувствуя за ним какую-то темную и враждебную им силу.

— Что же, погостить в богоспасаемом граде нашем думаете? — вежливо осведомился у Григория архиерей. — К Боголюбимой съездили бы, молебен бы Матушке отслужили...

— И всей душой рад бы, да никак невозможно... — отвечал Григорий. — Должно, с царевичем опять что-нибудь приключилось: сама мамаша телеграм подавала, что выезжай, дескать, Григорий, немедленно. И на вечер-то здесь я остановился только потому, что вот греховодник-граф уговорил. Да, признаться, и притомился дорогой. На пароходе еще ничего, а в вагоне прямо терпенья от жары нету: весь разорел!

В хорошеньких черных глазках вице-губернаторши запрыгали веселые бесенята. Губернатор строго нахмурился: народное выражение — только и всего!

— Извините, Григорий Ефимович, за нескромный вопрос... — как-то вкрадчиво спросил он у старца. — Что же, вы пользуете его высочество — я хочу сказать, наследника-цесаревича — снадобьями какими народными или, может, заговоры у вас есть? Конечно, если это не секрет... — с большой почтительностью добавил он.

¹ Я остаюсь твердым (*фр.*).

² Английскому банку (*англ.*).

— Нет, снадобий у меня никаких нету... — отвечал Григорий. — А вот просто возьмет мама — я царицу так зову, мамой, попросту, по-мужичьему, — возьмет она с меня вот хошь эту жилетку, прикроет ей болящего отрока своего — глядь, и здоров...

— Удивительно!.. Поразительно!.. — подобоострастно воскликнул губернатор. — Это превосходит всякое человеческое понимание!..

— И что же говорят врачи? — осведомилась губернаторша. — Ну, Боткин там и другие?..

— А я не знаю, матушка-хозяйюшка, что они говорят... — просто отозвался Григорий. — Потому как это дело до меня некасаемое... Я на Божье изволение только полагаюсь...

— Вот это так! — сухой головкой кивнул архиерей.

— Николай Николаевич Ундольский! — распахнув дверь, негромко доложил выдрессированный лакей.

В гостиную вошел высокий, худой, лысый, но, по-видимому, еще молодой человек, один из магнатов губернии, губернский предводитель дворянства. Лицо его, усталое и бледное, всегда легонько подергивалось, и он то и дело жмурил глаза, как будто в них попал мелкий песок. Зимой он неизменно проводил в Ницце, а лето в своем огромном имении под Окшинском, где у него был выстроен — еще дедами — великолепный дворец, свой театр, своя церковь. И хотя охотником он не был, но по традиции держал огромную повую охоту. Он постоянно хворал, и окшинцы, народ на язык вообще острый, смеялись между собой, говоря, что без доктора он и до ветра сходить не может.

Николай Николаевич любезно поздоровался со всеми, и, когда хозяйка представила ему Григория, он несколько пугливо подал ему руку и посмотрел на него так, как посмотрел бы на говорящего тюленя или другую какую несообразность, — не чудо, чудес для него давно уже не было, но только несообразность. Но, увидев, что Григорий держится спокойно и говорит человеческим языком, он почти тотчас же забыл о «чудаке» — он ни на чем не мог сосредоточить своего внимания надолго — и обратился к графу Михаилу Михайловичу:

— А давно мы не видались с вами... Что?

— Давно. Но я просил вас сто раз не повторять ваше «что»... — с шутилой строгостью сказал граф. — Когда вы наконец оставите ваши дурные привычки?

Николай Николаевич засмеялся неуверенно и слабо.

— Но куда вы исчезли тогда с Ривьеры так внезапно?

— Я выиграл в Монте-Карло около пятидесяти тысяч франков и, чтобы денежки даром не пропали, поехал в Сицилию, оттуда в Грецию, потом в Египет и Палестину и на храме Баальбека закончил свое интересное путешествие...

— Tout seul?¹ Что?

— Tout seul comme toujours...² — отозвался граф. — Я совсем не такой сластена, как вы, и человек расчетливый: зачем возить с собой то, что можно найти везде? Но pardon... — прервал он себя и обратился к сестре: — Varbe³, если ты хочешь накормить нас на дорогу, то медлить не следует: время! Ты знаешь мое правило: никогда не опаздывать, но и никогда не торопиться...

— Знаю, знаю, все будет вовремя...

И в ту же минуту отворилась дверь, и лакей доложил:

— Кушать подано...

— Ну, вот видишь... — улыбнулась губернаторша брату.

— Спасибо. И все-таки прикажи подать автомобиль пораньше...

— Неисправим!

— Горбатого исправит только могила...

— Прошу, господа... Григорий Ефимович... Ваше преосвященство...

Все общество двинулось в столовую — огромную комнату, отделанную в том тяжелом, условно-русском стиле, который так нравится некоторым немцам: тут были и петушки, и полотенца, и сулеи, и даже позеленевшие шлемы, и грубо расписанные чашки и тарелки, и, конечно, в переднем углу висела большая и старинная икона с вербочками и пасхальным яйцом на шелковой ленточке: Борис Иванович фон Штирэн любил все русское доводить до точки.

Лакеи отодвинули стулья, осторожно, вежливо косясь на широкую бородатую фигуру Григория; темные слухи о силе его при Дворе дошли и до них. Как почетного гостя Григория посадили по правую руку от губернаторши. Лариса Сергеевна все смотрела на него своими смеющимися, задорными глазками, ожидая от него какого-нибудь крутого словечка или какой-нибудь нелепости, о которой можно было бы потом со смехом и всякими преувеличениями рассказывать по городу. Григорий подметил ее усиленную внимательность и, вдруг погрозив ей пальцем, проговорил благодушно:

— Ну, ты смотри у меня... Стрекоза!

Лариса Сергеевна весело расхохоталась, и все улыбнулись.

— Qu'est ce qu'il a dit?⁴ — переспросил Николай Николаевич и снова посмотрел на Григория, как на тюленя.

Ужин был какой-то двойной, нелепый: с одной стороны, надо было показать влиятельному гостю истинно русский дух дома и угодить ему — он, в представлении хозяев, должен был приналечь именно на русские блюда, а с другой стороны, нельзя было этими

¹ В одиночестве (*фр.*).

² Как и всегда, в одиночестве.

³ Варвара.

⁴ Что он сказал? (*фр.*)

большею частью тяжелыми блюдами угнетать графа, а в особенности Николая Николаевича. Но к безмолвному удивлению всех, Григорий тоже охотно склонялся к блюдам кухни французской и довольно умело обходился с шампанским, хотя и заметно было, что вино вызывает у него усиленную отрыжку, что чрезвычайно сместило Ларису Сергеевну.

Вино развязало языки всем.

— Нет, в чем я особенно, несказанно завидую вам, Григорий Ефимович, — ласково говорила губернаторша, — так это вашей близости к царской семье! Не знаю, я, кажется, полжизни отдала бы за счастье видеть их ежедневно, а в особенности этих очаровательных девушек, великих княжон, а еще особеннее этого нашего несравненного ангела, цесаревича!

— Так чево ж ты тогда уехала в такую дыру? — с добродушной грубостью проговорил Григорий, уже положивший один локоть на стол. — И жила бы в Питере или в Царском...

— Мы люди служащие... — вставил вице. — Куда нас пошлют, туда и должны ехать. Повиновение первый долг наш...

— Ну, пошлют... — усмехнулся Григорий. — А ты умей так дело повернуть, что не токма чтобы тебя не отсылали, ан рад бы уехать, да за обе полы держут...

— Да разве все, кто живут в Петербурге, имеют это счастье близости к семье государя? — меланхолично вздохнула губернаторша.

— Они все народ совсем немудрай, простые совсем... — сказал захмелевший Григорий и, не удержавшись, сочно рыгнул. — Как везли меня впервые во дворец, я от страху ни жив ни мертв был и языка совсем решил, а потом все как рукой сняло. Совсем простые люди: и папа, и мама, и ребята все... Дружно, хорошо живут, а на отрока-то и не надьшутся... Известно: одна надежа...

Лариса Сергеевна, которой старец с его елеиным тоном — да и занозистых словечек не вылетало — уже приелся, завела игру с графом. Муж строго покосился на нее и раз, и два — он не хотел показаться легкомысленным перед старцем, — но это нисколько не подействовало на его супругу. Старец тоже все покашивал на раздумянившуюся и разыгравшуюся хорошенькую бабенку своим тяжелым глазом. Она звонко хохотала какому-то французскому анекдоту, который только что рассказал ей под шумок Николай Николаевич, заметно около нее оживившийся.

— Правда, мило? Что? — повторял он. — О, они насчет остренькой приправы удивительные мастера... Что? А то вот раз пришла поутру консержка... к... ну, как это называется?.. ну, одному из locataires...¹ А он...

— Николай Николаевич! — попытался было остановить его граф.

¹ Жильцов (*фр.*).

— Ах, оставьте, пожалуйста! — задорно возразила Лариса Сергеевна. — Что я, институтка, что ли? А если бы даже и была институтка, так тем более... Продолжайте, милый Николай Николаевич, и не обращайтесь внимания на этого чопорного петербуржца... Вы так уморительно рассказываете...

— Но архиерей... — совсем тихо уронил граф.

— Во-первых, он по-французски, кажется, не понимает, а во-вторых... знаем мы тоже этих ваших архиереев! Про ваших архиереев анекдоты есть не хуже парижских... Что вы на меня так смотрите? Пожалуйста! Это я только с виду так легкомысленна, а на самом деле я очень серьезная женщина...

— Лучше бы наоборот! — засмеялся граф, на которого шампанское тоже начало немножко действовать.

Губернатор тоже стал вздыхать о счастье жить в Петербурге, и Григорий небрежно уронил, что для хороших людей он всегда готов постараться в чем можно. В раскрытые окна послышалось мерное сопение автомобиля и похрустывание мелких камней под упругими шинами. И видно было, как яркая полоса света от сильных фонарей прошла по белым стенам старинных соборов и снова ушла в темноту.

— Ну, Varbe, все хорошо, что хорошо кончается... — сказал граф.

— Кофе, во всяком случае, можете выпить не торопясь... До вокзала всего пять минут спокойной езды...

Губернатор выразительно посмотрел на своего вице, и тот, извинившись, встал и торопливо вышел в обширную прихожую.

— Вокзал! — коротко и строго сказал он дежурному жандарму, бравому молодцу с рыжими пушистыми усами, и, когда тот, вызвав вокзал, почтительно передал трубку начальнику, он своим суровым басом начал стрелять в микрофон: — Вокзал? Дежурный по станции? Говорит вице-губернатор. Осветить царскую комнату, и чтобы все было в образцовом порядке. Понимаете? Под вашу личную ответственность. И если автомобиль губернатора опоздает на несколько минут к курьерскому, задержать поезд. Я кончил.

И он, широко шагая, вернулся в столовую и безмолвно передал губернатору, что все в порядке.

Еще минута, и началось довольно шумное прощание. Со стороны можно было подумать, что расстается крепко сжившаяся, дружная семья: так все было сердечно и даже трогательно. И старец расцеловал в губы и с губернатором, и с вице, и с их женами.

— Не замай, ничего, со стариком можно! — говорил он, совсем рассоловав, и, снова погрозив корявым пальцем смеявшейся Ларисе Сергеевне, повторил: — Ох и яд-баба, язви те! Ох и яд!.. Ну, прощай, милой, дорогой... — говорил он губернатору. — Ежели что, напиши мне в Питер: что можно, устроим...

Красивый и сильный автомобиль, светя на полверсты вперед, бесшумно понесся почти безлюдными улицами сонного городка на вок-

зал. Городовые вытягивались, ловко отдавая честь начальству и высокому гостю. Филеры старались спрятаться в тень. На чисто выметенном подъезде вокзала автомобиль был встречен нарядом щеголеватых жандармов и почтительным начальником станции, седеньким, маленьким старичком, которого подняли с постели для проводов. И все прошли в ярко освещенную царскую комнату — ее отделили совсем недавно специально для проезда царя в Суздаль. Толпа, несмотря на жандармов, напирала к окнам и, как загипнотизированная, смотрела на губернатора, а в особенности на великого сибиряка — так смотрят люди в пропасть. Скоро подлетел, сверкая, курьерский поезд, и губернатор с вице проводили гостей до вагона, и снова довольный и польщенный старец расцеловался с ними накрест. Граф, пошептавшись с начальником станции, снова обеспечил себе на ночь отдельное купе.

Поезд унесся в темноту, а губернатор с вице, зевая — они устали немного от гостя, — возвратились домой. Задремавший было в губернаторской передней Афанасий, курьер «Окшинского голоса», слышал, как в канцелярии зашумели возвратившиеся с вокзала начальники губернии. И скоро за дверью послышались сердитые голоса:

— Не угодно ли послушать? — слышался бас вице. — «К нам, по слухам, проездом из Сибири в Царское Село заглянул интересный гость, известный «Старец» Григорий Распутин — и «Старец» поставил в кавычки, мерзавец! — о котором в последнее время ходит столько всяких слухов. Цель приезда старца неизвестна. Остановился гость у г. начальника губернии». Для чего, скажите, пожалуйста, это напечатано?

— Вычеркнуть, вычеркнуть! — сказал губернатор, сочно зевая.

— Черт бы их совсем побрал, этих пустобрехов! — пробасил вице. — Для сенсации на все готовы... Да, я забыл доложить вам: полковник Борсук доносит, что они затевают какую-то вольную комму-ну, что ли, организовать — то есть не редакция, конечно, а кто-то из близких ей. Надо бы выследить всех этих коммунаров да и прихлопнуть разом...

Через четверть часа жандарм на цыпочках вынес Афанасию узенькие листочки гранок. Резкие черты и сочные красные кресты виднелись на каждой почти полосе. Афанасий, почтительно приняв этот прожеженный газетный материал, торопливо потрусил в редакцию.

Глава VII КОШМАР

Курьерский поезд бойко летел темными полями и лесами, мимо спящих деревень и городков. Григорий, с улыбкой оглядевший при входе свое двухместное, темно-малиновое и уютное купе, — он все

еще никак не мог поверить себе, что это он, сибирский мужик, всей этой роскошью безвозбранно и уверенно пользуется, — снял сапоги, размотал онучи и, бросив их на коврик, отпустил пояс и, перекрестившись машинально широким, староверским крестом, лег на пружинный диван. Пружины мягко и плавно колыхали его сильное тело в такт подрагиваниям великолепного вагона; было не жарко, уютно, но переполненный всякой острой снедью желудок не давал спать, а в особенности мешало это стеснение «в грудях», которое бывало у него всегда после шампанского: пить словно бы и гоже, а в особенности ежили со льдом, а потом вот казлись...

И постепенно Григорий впал в то тяжелое состояние между бодрствованием и сном, когда возбужденному, усиленно работающему мозгу мир представляется как в разбитом зеркале — странный, извращенный, иногда страшный...

Кровь, питавшая этот тяжелый на подъем и темный мозг, была темная и тяжелая. Это была кровь длинного ряда темных, слепо метавшихся по безбрежным, пустынным сибирским равнинам поколений. Была в ней, может быть, и кровь Стеньки, того страшного безбожника в персидских шелковых тканях, в золоте и крови, который прошел огнем и мечом по берегам великой реки, который в испуге перед красотой женщины не себя победил, а как гнусный гад утопил эту женщину и, утопив, бахвалился этим, того Стеньки, который, задыхаясь от злорадства, топил, резал, вешал и жег попов, осквернял церкви, а когда холодной молнией блеснул ему в бесстыжие очи топор палача, вдруг стал кланяться — конечно, на все четыре стороны — народу православному и просить у него прощения. Была в этой груди, может быть, и кровь Емельки Пугача, того Емельки, который объявил себя царем Петром III и быстро объединил вокруг заведомо для всех ложного знамени все уставшее от постоянного труда, все возжелавшее отдыха в широком кровавом и пьяном разгуле, все мстительное, все пьяное, все темное, что только было в Заволжье. Была тут, в этой мохнатой и широкой груди, и кровь сотен безвестных бродяг сибирских, всяких Иванов Непомнящих, которые за ударом кистеня и ножа никогда не стояли, двуногих волков в образе человеческого, и кровь спившихся и отчаянных попов-расстриг, и мрачных снохачей всяких, и многих других темных душ, которые то, хохоча в небо, разбивали о порог головы младенцам — так, только чтобы посмотреть, что из этого будет, — то, возложив на себя пудовые вериги, сжигали свою плоть в огнях покаяния и молитв и кровавыми слезами плакали над своим окаянством — вплоть до той минуты, когда презрительным ударом грязного сапога не отправляли они все это к черту на рога и, снова взяв нож, шли на привычное им дело и окровавленным золотом осыпали первую попавшуюся им девку, слюнявую и бесстыжую, с которой они смрадно пьянствовали в дымном и темном, пропитанном преступлением кружале, — до начала...

И все то, что пережили эти буйные поколения, метавшиеся от берегов Волги через «бугры» в бескрайные просторы Сибири и нигде не находившие себе достаточно простора, а душе своей — удовлетворения и покоя, все это — коротко и сжато — проделал в течение своей жизни этот костистый и сильный мужик. И, напуганные его беспутством, односельчане точно выжгли на этом низком, серо-пепельном лбу сразу крепко приставшую к нему кличку: Распутин. И они — как и сам Григорий — смутно понимали и остро чувствовали, что для него пали уже все сдерживающие обыкновенного человека преграды, что преступления для него больше нет, ибо преступать ему, этому полуграмотному русскому нигилисту в шелковой рубахе, валяющемся теперь на темно-малиновом бархате дивана, уже нечего, что он легко преступил и преступит все, так как ничего святого для него уже не было; жизнь превратилась для него в пустыню, и пустыня эта была налита холодной и тяжелой, как осенняя ночь в тайге, тоской, и в холодной пустыне этой противными и жалкими призраками кривлялись мимолетные желания и капризы этой обеспокоенной и как будто мертвой души. Кем, чем, когда она была так обеспокоена — историей, личной судьбой, мудрым изволением Господа, — было неизвестно, и это было страшно...

И в полудремоте, под мерный и мягкий, заглушенный стук роскошного вагона мнилось Григорию, что ноги его медленно, плавно, уверенно протянулись в коридор, легко, без малейшего усилия прошли сквозь железную стенку вагона и ушли в темные поля, а на груди его, где раньше была борода, поднялась и зашумела тайга, а пониже, по брюху, раскинулась неоглядная ширь реки какой-то могучей, по которой теперь, скрипя, тянулись тяжелые плоты, бежали вверх и вниз пароходы, степенно ползли богатые караваны под пестрыми флагами, а по крутым берегам раскинулись села богатые да города шумные... И все шире и шире ползло тело его в темноту, и он с сосредоточенным вниманием следил за его неудержимым ростом, который, однако, его нисколько не удивлял, хотя раньше он и не видывал такого никогда...

И поднялись на Григории горы, и засинели моря, и серебряной сетью опутали его бесчисленные реки и речки, и степи ушли в бескрайние дали, и задымилась леса труб фабричных, и засияли огнями дворцы, и бежали по нему во все стороны сотни, тысячи поездов-малюток. И он ловил все это своим тяжелым взглядом, все замечал и ждал спокойно, что будет дальше, хотя в купе становилось ему все теснее и душнее. И всего чуднее было то, что над всей этой его бескрайней ширью неба не было, что ушло оно куда-то и была на месте его пустота, от которой кружилась голова и замирало сердце.

И вдруг тайга, что на месте бороды его темным морем раскинулась, точно прорвалась в одном месте, как бумага, и из дыры вылез вдруг человек. Ба, да это Михайла Васильевич, урядник! Он, он: и ус

его казачий, и глаз ястребиный, и вся эта повадка тертого варнака, который себе цену знает — сорок тысяч тогда, сукин сын, сорвал, как с фальшивыми бумажками накрыл на займке у Кудимыча. Ну, да недолго пользовался — ухайдакали. Зачем теперь явился?.. Но заниматься им было некогда: из сверкающего всеми своими громадными окнами дворца вышел на чугунный подъезд генерал-адъютант Соколин с великим князем Васильем, и, увидав его, оба засмеялись и помахали ему руками, затынутыми в белые перчатки. Здорово кутили они тогда под Питером с Сокориным этим самым! И жененка у его, у-у, чертеночка какой, язвы ее!.. В баню с ним ездила, по-русски... А тот ржет только, как жеребец... Рубаха-парень... Эй, милой, дорогой, хотел было крикнуть ему Григорий, да в это время кто-то его с другой стороны позвал. Оглянулся: из Москвы поезд курьерский летит, а из вагона Стрекалов, купец именитый, дружок его, в ильковой шубе нараспашку, рожа красная лоснится, по брюху цепь золотая, толстая протянулась, рукой ему машет, зовет. Тоже варначище здоровый, собака, — говорят, отца родного на тот свет отправил, отравил ядом каким-то, что ни один доктор дознаться не мог. Ну а между прочим, парень ничего себе... Он ему еще в Питере дело одно с лесами провел — здоровый тот куш отхватил...

— Григорий... А я-то? А меня-то? Что ж это ты? Или забыл? А я вот он... — кричали ему со всех сторон. — Григорий Ефимыч, друг ты мой ситный!..

И довольная улыбка раздвинула беспорядочные усы Григория, и в глазах засветился волчий зеленый огонь, и заиграло сердце весельем пьяным, и ударил он в ладоши, и присвистнул свистом таежным, варнацким, и удало притопнул ногой... И вот вдруг по всему необъятному телу его, через горы, через реки, по степям безбрежным понесся бешеный хоровод: великие князья, купечество толстопузое, леварионеры лохматые, полицейские крючки, газетчики, генералы всякого сорта, армяшки, мужики, ученая братия, бабенки эти — которые совсем голые, стерьвы!.. — губернаторы, жиды, попы, князья именитые, чиновники, девчонки гулящие, монахи, бродяги беспашпортные и другая босота всякая, прокопченная, в мозолях, пьяная, вонючая, митрополиты в митрах сверкающих, рабочая братия, скопцы безбородые, фабриканты богатые, солдатня серая, схватившись за руки, с хохотом, свистом, улюлюканьем, с песней бесшабашной, задирая бесстыдно ноги, неслись вокруг него, точно славословя его в его темной силушке таежной. А он, блудливо ослабившись, свистел посвистом разбойничьим, и плясал в самой середине, и валил сапожниками своими и обители древние, и города богатые, и давил деревни без числа, и церкви златоглавые, пакостил леса, отравлял грязью реки светлые, горы рушил поднебесные, ковер степной многоцветный блевотиной вонючей заливал. Тысячными толпами, обезумев от страха, спасались от его сапожищ люди — маленькие, черненькие, вроде му-

рашей, — и это еще более веселило его огромное, мохнатое сердце диким весельем, и он притопывал, и свистел разбойничьим посвистом, и блудно ухмылялся на бесчисленных дружков своих, которые бесконечным хороводом неслись с дьявольским смехом, визгом похотливым и всяческим кривлянием по долам, по горам, по лесам, по степям, по городам богатым и бесчисленным деревням, по всему огромному телу его, которого он сам и обзреть уже не мог.

— Ух! — реготал Григорий, как леший. — Жги! Крути! Накатил, накатил... Ух!..

И трескалась земля от пьяного топота миллионов огромными трещинами-пропастями, и валил оттуда дым черный и смрадный, и вырывалось с буйным воем мутно-багровыми полотнищами пламя, и тысячи тысяч чертей, больших, как медведи, и маленьких, как тараканы, бойких, вертлявых, с холодными крыльями летучей мыши, вырывались из-под земли в клубах смрада смертного и полчищами несметными, как гнус сибирский по весне в лесах, все гуще и гуще заполняли безбрежности, над которыми не было неба... Страшно уже становилось и самому Григорию, и его уже душило несметное смрадное воинство это, вставшее из пропастей огромного тела его, но он уже остановиться не мог и, пьянея все более и более и в то же время уже страшась, кричал:

— Ух... Ух... Ух... Накатил, накатил, накатил... Жги... Ух!

И была теперь в крике его уже какая-то ужасающая все живое боль...

Кто-то рассмеялся рядом — просто, по-человечески, но как-то обидно.

Григорий неприятно вздрогнул всем необъятным телом своим и раскрыл глаза: в ярко освещенном квадрате двери стоял уже одетый и причесанный граф Саломатин. Сзади него виднелось любопытное лицо толстого и чистого обер-кондуктора.

— Да разве можно так шуметь в первом классе? — смеялся граф. — Обер-кондуктор вот уже думал, что на вас напали экспроприаторы... Это все губернаторские майонезы наделали — такими вещами в нашем возрасте злоупотреблять не следует... Ну, вставайте скорее — вот уже Симонов монастырь вдали виден... Скоро Москва...

— Ах, милой, дорогой... И здорово же я разоспался!.. Сичас, сичас...

И Григорий, разом поднявшись, привычным жестом пригладил руками свои встрепанные волосы. В глазах его все еще стояла тяжелая жуть и какой-то мертвенный холод.

— Ф-фу!.. — зябко сказал он, передернув плечами. — А нюжли нехорошие сны от еды бывают?

— Ого, еще как! — рассмеялся граф. — Наестся какой-нибудь православный каши гречневой до одурения, а потом ночью орет: домовый душит! А это только каша...

Обер почтительно рассмеялся и пошел дальше. Григорий остро воззрился на графа:

— Так и домовый, выходит, от каши?

— И домовый. Желудок в нашем возрасте вообще вещь серьезная... — весело сказал граф. — Можно сказать, всему свету голова...

Григорий, загадочно усмехнувшись, раздумчиво покачал головой и пошел умываться...

Глава VIII ЦАРЬ, ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦ

Ранним солнечным и росистым утром к перрону хмурого и закопченного Николаевского вокзала в Петербурге щеголевато подлетел курьерский поезд. Небольшая группа дам в светлых элегантных туалетах с букетами прелестных цветов в руках одним невольным движением устремилась к солидному, темно-синему вагону первого класса, с подножки которого, залиvisto свистя в серебряный свисток, молодцевато соскочил солидный, чистый обер-кондуктор в белом воротничке, а в одном из окон показалась светло-лиловая шелковая рубашка, и лица дам тепло расцвели: он приехал!

И когда немногие пассажиры этого вагона в сопровождении почтительных носильщиков с самыми чудесными чемоданами и баульчиками и темными пледями, с любопытством оглядываясь назад, на человека в светло-лиловой рубашке, вышли, на площадке показался Григорий, умытый, причесанный, почти благообразный. Он не торопясь, сдерживая улыбку, спустился на платформу, и тотчас же его пестрым, изящным, благоухающим венком окружили дамы. И одна из них, очень полная, еще милovidная, с пышной прической и бойкими, хитрыми глазами — то была фрейлина Анна Вырубова — с полной любви улыбкой поднесла Григорию пышный букет прелестнейших свежих роз — их примчал сюда на зорьке автомобиль из Царского — и проговорила тихо и значительно:

— От Ее Величества...

— Ах, мама, мама, совсем ты меня, старика, избаловала... — принимая в корявые руки нежные розы, проговорил Григорий. — Ну, все ли у них слава богу? Пошто вызвали меня? Как отрок?

— Все слава богу. Цесаревич здоров, но... Ее Величество всегда так беспокоится, когда вас нет... — сказала Вырубова. — Да и мы вот все тоже...

Григорий с улыбкой ощупал глазами эти женские, почти подобострастные лица, которые сияли на него восторженными улыбками, и, благодушно приговаривая своим сибирским говорком разные прибаутки, принимал от них цветы. Обе руки его были теперь полны благоухающих цветов, а над ними загадочно улыбалось серое, землистое лицо с тяжелыми глазами. Григорий беспомощно оглянулся.

— Ох, не привык я к этому!.. — проговорил он. — Спасибо вам всем... ну только ослобоните старика, сделайте милость, от всего этого. А то, ишь, оглядываются...

В самом деле, люди останавливались в отдалении и не отрываясь, как загипнотизированные, смотрели на эту странную группу.

В одно мгновение ловкие руки дам освободили его от ароматной ноши, и Григорий с Вырубовой впереди, другие сзади, все вышли на залитую утренним солнцем площадь, посредине которой царил во всей своей несравненной красоте бесподобный монумент: тяжкий колосс на колоссальном коне, оба страшные и в этом ужасе своем, в своей величине, в своей тяжести непомерной несказанно прекрасные. Роскошный автомобиль бесшумно подкатил к лестнице, и Григорий, покивав головой дамам, сел в него с Вырубовой, и автомобиль, тихонько посапывая, направился к Невскому. Городовые, предупрежденные шпиками, со строгой озабоченностью смотрели вперед, как бы что-нибудь не помешало прекрасной машине. Остальные дамы, оживленно переговариваясь — они понимали всю важность момента и исключительную значительность в нем своей роли, — рассаживались по своим автомобилям и уносились по своим дачам в сладком предвкушении близкого свидания с другом царской семьи и, может быть, спасителем всей России...

Григорий хотел было захватить на свою квартиру, на Гороховую, но Вырубова, умоляюще сложив руки на груди и глядя на него с вдруг налившимися слезами на глазах, пролепетала:

— Ради Создателя, едем прежде всего к ней!.. Она прямо сгорает от волнения, прямо извелась вся... Ну прямо без слез смотреть на нее нельзя...

— Да ведь дитенок-то, говоришь, здоров?

— Да, более или менее, как всегда... — отвечала Вырубова. — Но... она так тревожится... Ах, как она несчастна!

— Ну, ништо... Поедем прямо в Царское...

И, сверкая, грузная машина быстрокрылой ласточкой понеслась по Царскосельскому шоссе. У Григория с непривычки — он все никак не мог освоиться с быстротой автомобиля — внизу живота что-то тупо заныло, и он боязливо поглядывал вперед: не налететь бы, часом, на столб али на мужика какого... Его спутница бережно укутала его ноги тигровым покрывалом и участливо и покорно смотрела в его землистое лицо, вокруг которого теперь беспорядочно и бешено трепалась от ветра темная борода. Разговаривать она боялась: с дороги он может

легко простудиться. И вся ее вывихнутая в корне, вдребезги исковерканная, нелепая душа замирала при этой мысли в ужасе...

Коверкать начали ее с пеленок бонны, потом коверкали ее на все лады гувернантки, потом коверкали ее в институте, а затем стала коверкать вся эта богатая, праздная, бессодержательная и насквозь искусственная придворная жизнь. Но всего более исковеркал и измучил ее муж, такой же исковерканный и нелепый, как и она. И, прожив с мужем несколько лет и оставшись все же девственницей, измученная, истощенная, с отвращением ко всему и ко всем, она жила изо дня в день, не замечая, как ее отношение к миру и людям постепенно, но коренным образом изменяется: истеричка, она видела и слышала теперь то, чего не было, и не видела и не слышала того, что было, живые люди стали для нее призраками, а призраки и создания ее большого мозга — неоспоримыми фактами. Любовь, дружба, ненависть, искусство, религия — вся жизнь криво и неожиданно преломлялись в ее исковерканной душе, и она была твердо уверена, что это-то исковерканное отражение в ее душе жизни и есть самая подлинная, настоящая жизнь.

Царскосельские часовые с почтительным ужасом пропустили автомобиль за чугунную решетку, и машина, бархатно хрустя по гравии, подкатила к дворцу. Выбежавшие из вестибюля лакеи подобострастно высадили Григория и Вырубову, и они, расправляя затекшие ноги, вошли во дворец.

— Ну, ты иди, скажи там Сашеньке... а я... того... до ветру пройду... — проговорил Григорий.

Вырубова слегка зарумянилась и, наклонив голову, торопливо прошла на половину Александры Федоровны. Вся обстановка тут была уютна и проста той простотой, которая стоит огромного напряжения ума и воли и огромных денег. Но все же это был в общем не дворец императора огромнейшей страны, а скорее хороший загородный дом очень богатого человека, и только бесчисленные рати невидимых шпииков да караулы видимых солдат говорили о значении этого скромно-богатого дома.

— Ну? — жадно устремилась навстречу Вырубовой царица, когда красивая сухой, английской красотой, а теперь уже привядшая женщина с большими страдающими глазами.

Вырубова порывисто и страстно обняла ее.

— Привезла! — бурно-радостно проговорила она.

Через несколько минут Григорий уже сидел на мягкой оттоманке, а против него, ненасытно глядя в его землистое лицо исступленными глазами, сидела Александра Федоровна. Вырубова стояла за ее креслом. На столе Григория ожидал на серебряном подносе завтрак: кофе, яйца, масло, ветчина. Друг должен был тут же, на ее глазах, подкрепиться с дороги. И он ел и слушал ее беспорядочную речь. Она готова была пасть пред ним на колени, целовать эти корявые руки, та-

кие неуверенные в обращении с серебром и тонким фарфором, руки, в которых лежало спасение ее сына, а следовательно, и династии всей, и России, но она должна была сдерживаться и от волнения напряженно краснела пятнами и путалась в русской речи, в которой она, несмотря на все старания, все же не была еще достаточно тверда.

— Да что ты такая беспокойная, господь с тобой, мама? — говорил Григорий грубовато и благодушно, этот тон тут нравился больше всего. — Нешто так можно? Ты должна и себя соблюдать...

— Ах боже мой, ты в твоей простоте не подозреваешь и сотой доли того, что приходится мне переживать! — воскликнула царица и опять покраснела напряженно. — Вокруг хитрые и жадные люди с их вечными интригами, в которых прямо немислимо разобраться: так все опошлели и изолгались! Слушаешь его и думаешь, что это самый преданный человек тебе, а оказывается, что ему нужен чин, орден, деньги. А там, — сделала она неопределенный жест за окна, в которые смеялось солнечное утро, — эта несносная Дума с ее подкопами и борьбой за власть, эта распущенная печать, для которой нет уже, кажется, ничего святого, усиленная работа красных и жидов. А над всем этим милый, добрый, необыкновенный Ники... ангел, а не человек... но такой нерешительный, такой слабый! И в довершение всего — Алексей. Ах боже мой! — схватила она вдруг за голову жестом бесконечного отчаяния. — Столько лет, так страстно ждала я его... и боялась, и ждала... и надеялась на чудо, что Господь услышит молитвы мои, увидит слезы мои, сжалится надо мной и над Россией... избавит его от этой страшной болезни, одна мысль о которой приводила меня в ужас... Но вот родился он, и... горе, горе: болезнь, проклятая болезнь наша была в нем! И я, одна я виновата в этом!

По ее искаженному страданием лицу покатались тяжелые слезы.

— Ну разве так можно? — со слезами вмешалась Вырубова. — Ты бог знает уже что говоришь...

— Нет, нет, мама, так я тебе не велью! — решительно сказал Григорий. — Это так не годится! Болести от Бога, а не от нас — значит, такого Его воля святая... Но Он посылает болезнь, Он же дает нам и средства... — Говорил он проникновенно и сам в эту минуту верил в то, что говорил. — И не тревожься так: покедова я тута, ничего не бойся, отрок твой будет и жив, и здоров. И папу нашего мы подвинтим. Царю надо быть построже, что верно, то верно. А ты покажи мне, между прочим, отрока-то, надежу-то нашу расейскую... Вели-ка позвать его... И девки здоровы?

— Все здоровы, спасибо... — отвечала, успокаиваясь немного, Александра Федоровна и позвонила, но тотчас же спохватилась и нервно обратилась к Вырубовой: — Ах, Аня, дружок, мне не хочется, чтобы чужие входили сюда... пойди и распорядись, чтобы позвали всех и чтобы сказали Ники.

Вырубова пошла исполнять поручение, но в дверях столкнулась с государем, который входил в комнату со своей обычной, точно отсутствующей улыбкой — маленького роста, с прекрасными глазами, в простом белом кителе.

— Приехал? — просто обратился он к Григорию и троекратно поцеловался с ним. — Ну, очень рад. А то она совсем извелась без тебя...

— Да уж я побранил ее... Я свое дело знаю... — отвечал все в том же тоне Григорий. — Ее побранил, и тебе тоже на орехи достанется, папа... потому и на тебя уж мне крепко нажаловались...

— В чем же я провинился? — садясь, с улыбкой спросил государь.

— Строгости все не показываешь, добер больно ко всем, вот в чем... — говорил Григорий, макая куском ветчины в горчицу. — Царь ты али нет?

— Должно быть, царь... — с улыбкой сказал Николай.

— А тогда и будь царем! — твердо сказал Григорий. — Нешто с нашим народом добром что сделаешь? Наш народ облом, сиволапый, дуропляс — он только строгость и понимает... Налей-ка, мама, кофейку ему... — подвинул он царице свою чашку. — Он будет кофий пить, а я его ругать буду.

— Ругай, пожалуй, но кофе я пил уже, спасибо... — сказал Николай.

— Ах, Ники, выпей! — обратилась к нему жена, глядя на него влюбленными глазами. — И непременно из его чашки... Это принесет тебе пользу. Ну, для меня... немножко?..

— Да хорошо, милая... С большим удовольствием...

— Вот так-то вот!.. — проговорил Григорий как бы примирительно. — Пей-ка на здоровье... А что брехунцов твоих в Думе ты распустил, это верно. Такое городят, что нам, мужикам, и слушать совестно. Кто же хозяин-то в Расее, ты али они? Разгони всю эту сволоту по домам да и правь Расеей, как твой отец правил: пикнуть никто не моги, дышать без моего дозволения не смей, а не токмо что!.. Наш народ дуролом... И опять же, что в загранице скажут, ежели прочитают, как эти ветрогоны твоих министров страмят?

Николай, прихлебывая из чашки Григория уже немного остывший кофе, внимательно слушал, но слова Григория — как и вообще всякие слова — только скользили по поверхности его души и не возмущали ее полного и глубокого ко всему безразличия. Он с покорностью принимал выпавшую на его долю роль самодержца всероссийского, искренно верил, что такова воля Всевышнего, и старался по мере сил исполнять все свои обязанности.

Когда раз, во время японской кампании, ему докладывали о страшном поражении, вновь понесенном русской армией, он глядел своими пустыми голубыми глазами в окно на легко порхающий снежок и, вдруг прервав своего собеседника, проговорил:

— А хорошо бы, знаете, поохотиться сегодня...

Но приезжал он на охоту, ставили его на лучший номер, и он пропускал мимо себя равнодушно десятки зайцев и фазанов без выстрела, и распорядитель охоты, горячий великий князь Николай Николаевич, которому лестно было иметь хорошую штреку, рвал и метал все свои громы. А если подавали царю новую лошадь — выбирала ее целая комиссия и выезжал ее особый берейтор, вкладывая в дело всю свою душу, — царь садился на эту лошадь и даже словом одним не благодарил он бедного взволнованного берейтора: он не замечал, что ему подали новую лошадь...

Когда в 1906 году в Кронштадте вспыхнуло опасное восстание во флоте, он принимал у себя А. П. Извольского. Тот был поражен удивительным спокойствием царя при его докладе — доклад этот происходил под отдаленный грохот орудий, бивших по восставшим кораблям, — и позволил себе в почтительной форме выразить государю это свое удивление: ведь в эти минуты решается, может быть, судьба династии и России!

— Вы меня видите таким спокойным потому, — отвечал государь, — что я твердо верю, что судьбы России, моей семьи и моя собственная в руках Всевышнего, который поставил меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни произошло, я преклонюсь перед Его волей в сознании, что у меня никогда не было мысли другой, как о том, что бы служить стране, которая мне была вверена...

Это служение стране он понимал в том, чтобы выслушивать доклады, в которых его большею частью обманывали, скрывая истинное положение дел, принимать парады гвардии и вообще войск, перемещать чиновников с одного места на другое, давать им всякие награды, посылать всякие телеграммы соседним государям, принимать их визиты и отдавать эти визиты, присутствовать иногда на заседаниях Государственного совета и подписывать его решения. Живая и разнообразная жизнь для него подменялась бесчисленным количеством бумаг, и, подписывая эти бумаги, он был твердо уверен, что управляет многообразной жизнью огромной страны, которая ему была вверена, — если не был твердо в этом уверен, то по крайней мере старался делать вид, что он в это верит. В душе же он не был царем, правителем ни на йоту: власть и люди тяготили его, сложного механизма управления и потребностей России он не понимал совершенно, и в тихие минуты, когда его оставляли в покое, он с наслаждением мечтал о том, как было бы хорошо все это бросить и уехать в милую Ливадию, разводить там цветы, которые он любил, наслаждаться морем и в особенности полной свободой от людей. Та сила, которая в течение трех веков двигала его предков на часто кипучую деятельность, в нем была совершенно изжита, он был не царь, а призрак царя, и корона была не усладой для него, а тягчайшей обузой. Он ничего не знал, ничем долго не интересовался — исключение составляла разве только его замечательная коллекция почтовых марок, над собиранием которой он

трудился долгие годы, — всем тяготился и решительно ничего не хотел, как только того, чтобы его оставили в покое. Изредка в нем поднималось желание что-то такое сделать — хорошее, честное, разумное, — что было бы России на пользу, но сразу же пред ним вставало столько препятствий, до такой степени сложна и непонятна была обстановка всякого дела, что он никак не мог найти одного решения: он видел их сразу несколько, и все они были хороши, и все они были плохи, и он колебался без конца и не знал, на чем остановиться, а выбрав что-нибудь, убеждался, что выбор неправилен, несовершенен, и менял свое решение опять и опять. Лидеры оппозиции высмеивали эти его колебания и видели в них несомненный признак глупости, между тем как ни велики и ни многочисленны были его недостатки как царя, в этом он как человек, пусть даже очень недалекий, был неизмеримо выше своих критиков и врагов, людей самоуверенных до наглости, которые воображали наивно, что они очень умны и что они лучше всех все знают и понимают и могут облагодетельствовать народ, к власти над которым они так рвались. И, наткнувшись на эти бесчисленные препятствия, на эту тяжелую сложность дела, государь быстро охладевал к своим планам и забывал их. Без всякой злобы, совершенно равнодушно он выкрикнул, смущаясь, свои знаменитые «бессмысленные мечтания» — так, как отвечает ученик подсказанный и совершенно неинтересный ему урок, — и он, человек совсем не злой, из огромных окон Зимнего дворца совершенно спокойно смотрел через Неву на Петропавловку, где в ужасных казематах томились и сходили с ума живые люди, его враги, и он, слушая или читая доклад о новой голодовке в России — они, эти голодовки, повторялись из года в год, — как-то совсем забывал, что в Англии у него хранятся миллиарды рублей русского золота, которые он с великой пользой для народа и для себя мог бы употребить на борьбу с этими голодовками, и, прочитав доклад о доблестном поведении гренадеров в какой-то карательной экспедиции, посланной для усмирения волновавшихся крестьян, он на докладе этом спокойно писал: «Молодцы гренадеры. Так и надо...» — писал совсем не потому, что он это думал, а потому, что от него ждали, чтобы он что-то такое там написал именно в этом духе. И все восхищались его резолюциями и укрепляли его в мысли, что это именно так и надо. Но как только он оставался опять один, в нем рождалось подозрение, что он, в сущности, ничем не управляет, что его значение в жизни страны так же мало, как мало значение сухого листочка, упавшего с дерева в море, для жизни этого моря. И тогда он охладевал ко всему: и к одобрению окружающих, и к молодцам гренадерам, и к грохоту далеких пушек Кронштадта, бивших по восставшим кораблям. Будет то, что будет, — на все воля Всевышнего... В довершение всего он давно уже, с первых шагов, почувствовал себя под властью какого-то точно рока: ему не было удачи решительно ни в чем. Был задуман веселый народный праздник — кон-

чилось, даже не начинаясь, страшной Ходынкой. Захотел он стать твердой ногой на великом океане, дать России новую силу и новую славу — кончилось ужасающим бесславием японской войны, постыдной контрибуцией, потерей русской территории. Много лет страстно желал он с женой наследника — тем более что качества его брата Миши, как возможного правителя, были слишком хорошо известны ему, — и наследник родился со страшной болезнью, от которой спасал его только Григорий. Он оробел, он боялся действовать, потому что, претворяясь в жизнь, его добрые намерения непременно превращались в несчастье и для него, и для России...

И теперь он слушал выговоры своего Друга — императрица всегда писала это слово с большой буквы — и вполне с ним соглашался: конечно, чепуха эта Дума — жила же без нее Россия тысячу лет! — но... хорошо бы поехать сейчас в шхеры, половить рыбки, разложить на берегу огонь, побродить по лесам...

В дверь осторожно постучали.

— Entrez!¹ — отозвалась императрица.

В комнату с милой улыбкой вошел наследник, прелестный мальчуган с чистыми и ясными глазами, в сопровождении своего гувернера господина Жильяра, крепкого, спокойного швейцарца с бородкой а-ля Буланже.

Алексей сердечно обнял мать и отца и с застенчивой улыбкой поцеловал темную бороду Григория.

— Вот! — проговорил тот. — Ишь, какой молодчинище... А вы горевать!.. А каких гостинцев я тебе из Сибири привез!.. — обратился он к мальчику. — Перво-наперво самострел — чуть не на версту паляет... Потом пимы зырянские, шелками шитые — зимой гоже тебе в них будет, малицу, а потом, друг ты мой ситнай...

В дверь опять постучали, и на «entrez!» императрицы в комнату вошла Аня Вырубова с великими княжнами, простыми, свежими девушками в белых платьях. Татьяна, войдя, небрежно бросила на кресло какую-то трухлявую, растрепанную книжку в безвкусно пестрой обложке. Государь, довольный, что приход детей нарушил тягостную беседу с Другом, потянулся и достал книжку. На обложке ее стояло: «Невероятные приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса», а пониже карандашом несколько раз был нарисован неуверенной рукой — видимо, рисовавший учился — известный антисемитский знак, так называемый Nakenkreuz².

— Что, интересно? — спросил государь Татьяну, когда девушки, ласково поздоровавшись с Григорием, расселись вокруг стола.

— Ужасно, невероятно интересно! — воскликнула Татьяна. — Ты непременно, непременно должен прочесть! Мы все буквально упива-

¹ Войдите! (*фр.*)

² Свастика.

емся. Я не знаю, как и благодарить Восейкова... Ну, прямо иногда дыхание захватывает...

— А почему же ты не привез своих гостинцев сюда? — спросил Алексей у Григория. — Самострел — это очень интересно...

— Не привез!.. Все вот эта егоза Аня ваша... — ворчливо отвечал Григорий. — «Скорей... скорей...» Я думал невесть что... А у вас тут рай земной... Так весь багаж и проехал на квартиру... Да ты не беспокойся: вот погощу часок-другой у вас да и поеду в Питер за гостинцами тебе...

И утро шло — так, как оно шло бы где-нибудь в Симбирске или Полтаве в семье добродушного отставного генерала, помещика богатого или купца. И все были милы и просты, и все так сердечно, так благодарно смотрели на Григория, в котором видели они все великого молитвенника, силою которого пред Господом жив их ненаглядный мальчик, силою которого спасется расхлябанная Россия. А на широком, усыпанном золотым песком дворе шуршали колесами один за другим автомобили: то приезжали с докладом министры, блестящие генералы, командующие отдельными частями гвардии в ослепительных мундирах — началась обычная дворцовая суета...

— Ну, мне пора идти по своим делам... — проговорил государь, вставая. — А ты до завтрака побудь с ними... — обратился он к Григорию. — Позавтракаешь с нами, а там, если хочешь, и в Петербург тебя увезем.

Государь, улыбаясь, вышел. Все во дворце раболепно засуетилось и подтянулось.

— А мы пойдем в сад... — весело сказала совсем ожившая императрица. — Сегодня, по случаю приезда дорогого гостя, занятий не будет, мистер Gillard... — обратилась она к швейцарцу, который только молча поклонился в ответ. — Дети, Аня, идем... Мы покажем нашему Другу новые посадки...

И когда все вышли на залитую солнцем и уставленную цветами террасу, государыня, шедшая с Григорием, взяла вдруг его за руку, крепко пожала ее и, благодарно глядя на него напряженно сияющими глазами, проговорила тихо:

— Ты не можешь представить, как я благодарна тебе за твой приезд!.. Я прямо точно из могилы встала... И посмотри на Алексея: правда, очень мил?

— Чего там: мальчонка хоть куда!.. — отозвался Григорий. — Небось: покедова я жив, ничего не будет. Все будет на своем месте... Так-то вот. И раньше бы я к тебе приехал, да на день в пути задержался: знакомого встретил, Саломатина графа, так, пустой мужик, а между прочим, возвеличивает себя нись как... Ну, вот и заехали с ним к сестре его — она у его замужем за губернатором окшинским... — Ему вспомнились задорные глаза вице-губернаторши. — Ну, губернатор

парень ничего, сурьезный, — таких тебе следовало бы поближе иметь... И так-то накормил на дорогу, что надо бы лутче, да некуда...

И все спустились в залитый солнцем парк, в котором каждое дерево, каждый кустик, каждая веточка были предметом бесконечных забот невидимых людей и выглядели совсем как настоящие, свободно выросшие деревья, кустики, веточки...

Глава IX МОЛОДЕЖЬ

В небольшом старом садике перед старым дворянским двухэтажным домиком, под развесистой липой, за столиком, который когда-то был зеленым, сидят на стареньких плетеных стульях старичок со старушкой: Иван Николаевич Гвоздев, бывший управляющий казенной палатой в Окшинске, с добродушным, круглым, чисто выбритым лицом и большой лысиной, окруженной какими-то пушистыми, совсем белыми волосами, в очень широком чесучовом костюме, читает «Русские ведомости», а его супруга Марья Ивановна, благообразная старушка в строгих очках, согнулась над каким-то рукоделием. За сереньким, покосившимся и щелястым забором и кустами отцветающей и заплывшей сирени — дождя что-то давно не было — мирно дремлет на солнышке Окшинск, внизу виден светлый изгиб реки, а за рекой — синие дали.

У раскрытого окна в нижнем этаже усердно стрекочет на машинке Феня, девушка лет девятнадцати, с прелестными печальными глазами на бледном и миловидном личике.

— Ах, да брось ты свои газеты, Иван Николаевич! — досадливо проговорила старушка. — Ну чего ты зря-то глаза тупишь? Чего ты там не видал?

— Не видал... — не отрываясь, усмехнулся старик. — Надо же за жизнью следить...

— Ты глаза-то пуще береги, а следить за делом у нас, слава богу, есть кому и без тебя... — отвечала старушка. — Начитаешься всякого, а потом как с кем из приятелей сойдется, и давай спорить да кричать, словно студенты какие...

— Ну, ну, ну... — примирительно отозвался Иван Николаевич. — Сейчас кончаю...

Серенькая разбитая калиточка хлопнула, и во двор вошли высокий, стройный и очень корректный старик и молоденький студент с черными кудрями, по всей видимости, большой забияка и хохотун. Это был старый друг семьи Гвоздевых, когда-то очень богатый, а теперь совершенно разорившийся помещик Галактион Сергеевич Похвистнев. Студент был его сын Володя.

— А-а, гости дорогие! — тихонько воскликнула Марья Ивановна. — Милости просим...

— Добрый вечер, Марья Ивановна... — очень вежливо отозвался Галактион Сергеевич, почтительно целуя ее руку. — Ивану Николаевичу мое почтение... Серафима Васильевна просила кланяться...

— Что же вы ее с собой не взяли? Володя, здравствуй...

— Ко всенощной собирается к Николе-на-Поле... — отвечал Галактион Сергеевич. — Говорит, как к Марье Ивановне попадешь, так непременно засидишься и службу пропустишь...

— Ну, уж тоже... — махнула рукой Марья Ивановна. — Попили бы чайку да и пошли бы вместе. Я тоже люблю к Николе ходить — уж очень проникновенно отец Сергей служит... Да и хор такой хороший...

— Ну, как поживаете, Иван Николаевич?

— Ничего бы, да вот все Марья Ивановна за газеты меня пилит. Не дает читать, да и шабаш!

— А Ваня дома? — спросил Володя хозяйку.

— Дома. К экзамену готовится, должно быть... Иди к нему...

Напевая что-то, Володя уносится в дом.

— Нет, а читали сегодня, Галактион Сергеевич, как наш посол-то англичанам нос утер? — спросил Иван Николаевич. — Ежели, говорит, Великобритания не желает уважать интересов России добровольно, то у нас всегда найдутся средства заставить уважать их... А? Прямо вот точно расцеловал бы его...

— Да, правительством твердо ведет русскую линию... — отозвался Галактион Сергеевич. — Давно бы так надо... А вы что же это вчера в клуб не пришли?

— Да у Кузьмы Лукича засиделся... — отвечал Иван Николаевич. — Он только что из Нижнего вернулся. Ярмарку в этом году ожидают богатейшую, так вот и ездил распорядиться. А вчера обедать позвал. Ну и засиделись. Вот моя Марья Ивановна, ежели там угостить кого придется, лицом в грязь не ударит, но и его Клавдия Григорьевна тоже у-у-у... Какой ботвиньей, батюшка, вчера нас она накормила, цыплята какие были!.. Ну, и винцо, конечно, на совесть. Умеет угостить Кузьма Лукич, говорить нечего... А мне в подарок бочонок икры зернистой привез — не икра, а одно слово: мечта! Я и говорю ему: что это вы, батюшка, Кузьма Лукич, как старика балуете? Нам, отставным чинушам, к такой роскоши приучать себя не следует: не по карману. Ну, какая там роскошь, смеется. Это у нас здесь говорят: ах, икра, икра! А там, на Волге-то, ее хоть целую баржу бери по рупь двадцать фунт самый первый сорт... Ты бы, Марья Ивановна, пошла бы насчет закусочки распорядиться, а? И икорки поставь, попробуем... Да с ледком, смотри!

— Да уж знаю, знаю... — собирая свое рукоделие и незаметно пряча и «Русские ведомости», отозвалась старушка. — И вы идите тоже: самовар Глаша сейчас подаст, а закуску долго ли собрать?..

И она поплелась в дом.

— А это что же, внизу-то у вас новый жилец, что ли, какой? — спросил Галактион Сергеевич.

— Какой новый жилец? — удивился Иван Николаевич. — С чего вы взяли?

— Да вон у окна девица какая-то новенькая, я раньше такой не видывал у них...

— А-а... Это Катеньке они приданое шьют, так и взяли вот белошвейку из Ямской... Откуда у нас в Окшинске новым жильцам-то взяться? Как жил здесь Степан Степаныч тридцать с чем-то лет, так и живет...

— А что их не видать?

— С утра за реку уехали, рыбу бреднем по озерам ловить... — отвечал Иван Николаевич, разыскивая что-то вокруг себя. — Что за диковина? Куда же «Русские ведомости» делись? Непременно Марья Ивановна утащила... Ну, все равно, пойдете в дом, — вот и папиросы все вышли... Мне хочется передовицу вам прочесть да и сообщение-то из Лондона: уж очень мне твердый тон посла понравился! Идемте...

Не успели старики скрыться в подъезде, как из калиточки появилась Таня, дочь Гвоздевых, прелестная девушка лет восемнадцати, светлая и радостная, как весна, а по лестнице в доме послышался грохот молодых ног, и в сад вылетели Володя и Ваня, брат Тани, гимназист седьмого класса, рослый красивый мальчик с темно-бархатными глазами и чуть пробивающимися усиками, с эдакой значительностью на молодом лице: он стремился стать сознательной личностью, но все как-то двоился, стать ли ему эсэром, которые пленяли его своим молодечеством, или же эскедом, которые подавляли его своей строгой научностью.

— Отдай, говорю! — настойчиво крикнул Ваня.

— Сказал, не отдам, и не отдам! — пряча за спиной какую-то бумажку, задорно отвечал Володя. — Всем поведаю теперь о твоих вдохновениях... А, вот и Таня! Послушайте, Таня...

— Прошу тебя, перестань! — строго сказал Ваня.

— Врешь: всем расскажу! — отпарировал Володя. — Прихожу я это к нему тихонько, чтобы посмотреть, как наш ученый муж к экзаменам готовится, а он положил историю на подоконник, а на историю свою многодумную головушку и — почивает, а рядом с историей вот эта канальская бумажка лежит... Не угодно ли прослушать?

— Я тебя серьезно прошу: перестань! — строго повторил Ваня. — Как сознательная личность, ты не имеешь права врываться так в чужую душу...

— А ты имеешь право морочить всем голову? Все по твоей значительности думают, что ты — Максим Максимыч Ковалевский, а ты стихи пишешь, как второклассник какой... Слушайте, Таня!

— Погодите, сяду... — сказала девушка, опускаясь к зеленому столу. — Уж как устала... Ну?

— Прошу тебя... — попытался было протестовать брат.

— Не проси! Ты будешь казнен публично! — сказал студент. — И смотри, брат, не очень напирай: ты мои бицепсы знаешь, милый друг! Ну, слушайте, город и мир!

— Ну пусть... — покорился Ваня. — Ты не меня унижаешь, а себя...

И он, отвернувшись в сторону, сел на один из плетеных стульев. Феня умерила ход своей машинки. И тоже прислушалась.

— Силенциум!¹ — торжественно проговорил Володя и с небольшими подчеркиваниями начал:

Какая ночь вокруг! Какая тишина!
На улице шумит назойливо, тоскливо
Осенний дождь. И ветер сиротливо
Поет мне песнь у моего окна...

Черт бы его совсем взял! Это он весной, когда все живет во все лопатки, так скулит, — что же с ним в самом деле по осени будет, хотел бы я знать?

И в песне той мне слышатся рыдания
И сказка грустная о счастье дней былых...

Это когда ты в приготовительном классе, что ли, был? Да, конечно, жаль, что те славные времена прошли безвозвратно, но что же, брат, поделаешь? Сик транзит gloria мунди...²

О, сколько муки в ней! О, сколько в ней страдания!
Какая сила, страсть подавленная в ней!
Под звуки песни той, унылой, безотрадной,
В моей душе минувшее встает,
И хотя знаю я, прошло все невозвратно,
Но сердце трепетно назад его зовет!

А все-таки не верится мне, брат, чтобы ты в самом деле о пеленках стосковался! Чудаки эти пииты, в сам деле: у парня завтра усы появятся, а ему манной каши опять захотелось... — засмеялся он и, подняв значительно палец, продолжал:

И вновь мне хочется души родной участия,
И... и... и...

¹ Тишина (*лат.*).

² Так проходит слава мирская (*лат.*).

Ну, тут все так перечеркнуто, что ничего не разберешь. Значит, пороку у Максима Ковалевского не хватило... Жоли?¹

— Ну хорошо. Поиздевался, теперь отдай... — сказал Ваня.

— Ни за какие в мире! — воскликнул Володя. — Буду всему городу показывать, в «Русские ведомости» пошло, чтобы все знали, какой ты... крокодил...

И он залился веселым смехом.

— Ну хорошо... — сказал Ваня и с достоинством удалился в дом.

— Ну зачем вы его так обидели? — заметила Таня.

— Во-первых, мы так ссоримся сорок раз на неделе, и ничего... — сказал студент и, понижая голос, продолжал: — А во-вторых, вы хотя и женщина, но ужасно непроницательны: он, каналья, страшно доволен, что стихи его дошли куда нужно...

— То есть? — с любопытством наострила ушки девушка.

Володя выразительно покосился на окно, в котором шила Феня.

— Компренэ?²

— Да? — удивилась девушка. — Вот новость! А она премиленькая...

— И весьма...

— Это еще что такое? — возмутилась Таня. — Уже успел разглядеть?

— Да, но... Танек, миленькая, я с мольбой к тебе...

— Ну? — с нежной улыбкой проговорила девушка.

— Миленькая, приходи завтра к обедне к Николе Мокрому! Хорошо? А потом возьмем лодку и поедем кататься — к Княжому монастырю, в Старицу... Милая, Танюрочка моя...

— Ты не заслуживаешь этого по твоему легкомыслию, но... посмотрим...

— Это я-то легкомыслен?! Ого! Во мне масса солидности — только, может быть, это не так заметно... Вот скоро мы с тобой поженимся и...

— Это еще что за новости? А курсы? Я хочу еще на курсы...

— Не признаю еманципе! И ты говоришь это, только чтобы полить лишний раз меня. Я сторонник Домостроя: жена да убоится своего мужа! Ну и чтобы насчет хозяйства мастерицей была. Особенно чтобы в воскресенье поутру были у меня непременно пирожки, эдакие пухленькие, тающие... И начинка чтобы была самая разнообразная: с морковкой, с грибами, с мясом, с груздочками, с яйцами, с капусткой тоже вот, покислее... Мм... Дух по всему дому идет, амбре, а в груди — торжество... А вот когда борщом в доме пахнет, не выношу. Запах сытый, домовитый, а вот подите: не люблю!

— Скажите пожалуйста!

¹ Прелестно? (*фр.*)

² Понимаете? (*фр.*)

— Да. Печально, но факт! — И вдруг у него порывисто вырвалось: — Танюбочка, милая, если бы ты только знала, как я тебя люблю!

— Тише! — строго остановила его Таня. — А то к обедне не приду...

— А если чинно и благородно, то, значит, придешь?

— Посмотрим, посмотрим...

— Ах, как терзаешь ты мое бедное сердце! — воскликнул студент тихонько и вдруг, встав в позу и кому-то подражая, запел:

Галлупка мая,
Умчимся ф края,
Где фсе, как и ты,
Саввишенство!

— Дети, чай пить! — позвала из окна Марья Ивановна.

— Чичас, Марья Ивановна! Идем... — отвечал Володя и продолжал:

И буддим мы там
Дилить паппалам
И рай, и любофь,
И блаженство!

— Синьора! — обратился он к Тане, предлагая ей руку калачиком. — Прашу вас...

И с подчеркнутой торжественностью он повел ее к старенькому крылечку.

— Ну и озорник мальчишка! — засмеялась из окна Марья Ивановна. — Ну, твоей жене скучно с тобой не будет...

— Вы слышите, Татьяна Ивановна? — тихо и значительно сказал Володя.

Они скрылись в стареньком крылечке.

В верхнем этаже слышалось передвиганье стульев, звон посуды и радушные голоса: «Погодите-ка, Галактион Сергеич, я вам икорки положу... Глаша, а что же варенье? Да малинового не забудь — Галактион Сергеич больше всех малиновое любит... Да уж знаю, знаю, чем барину угодить... Ну вот, спасибо, милая... Володя, Таня, что же вы не садитесь?..» А у крайнего окна с «Вестником Европы» в руках появился вдруг Ваня: сперва он делает вид, что читает, а потом, осмотревшись осторожно вокруг, нарочно роняет вдруг книгу вниз, как раз у окна Фени. Девушка вздрогнула от неожиданности и, пригнувшись к машинке, начала с особым усердием шить.

— Извините, я, может быть, напугал вас? — проговорил Ваня, появляясь под ее окном. — Нечаянно упала с подоконника книга...

— Ничего, что вы... — смущенно отвечала девушка, вспыхивая.

— А скажите, Феня, почему это я не встречал вас в городе никогда раньше? — спросил Ваня. — Это прямо удивительно. У нас все друг друга знают...

— Я на самом краю ведь живу, туда, к Ярилину Долу... — отвечала Феня. — А выхожу совсем редко.

— Это очень жаль... — хрипло от приступившего волнения сказал Ваня. — Мне так хотелось бы видеть вас где-нибудь в другом месте. Мы могли бы читать с вами вместе, развиваться... Хотите, я дам вам книжек? И журналов могу всяких достать...

— Спасибо... — зарумянилась вдруг Феня. — Только ведь я неграмотная.

— Как?! Неграмотная?! — поразился Ваня. — Проклятое правительство! Конечно, им выгодно держать народ в темноте, но подождите!.. Феня, милая, приходите завтра к обедне в Княжой монастырь. Хорошо? А оттуда мы прошли бы на реку, взяли бы лодку... Хорошо?

— Ах, что вы?! — тихонько воскликнула Феня. — Разве это возможно?!

— Отчего же? Ваше недоверие... оскорбляет меня, Феня... Я, как человек сознательный... с самыми лучшими намерениями... а вы так относитесь...

— Ах нет, не то! Совсем не то... — прошептала девушка и вдруг закрыла лицо обеими руками. — Вы не знаете...

— Да в чем же дело? — спросил с участием Ваня. — Феня, милая... вы меня мучаете... я должен сказать вам, что я... я полюбил вас... сам не знаю как... и мне так хотелось бы...

— Милый... голубчик... — пролепетала девушка с выражением бесконечного счастья на лице. — Я не только... я всю душу отдала бы тебе... Но... но не знаете вы беды моей...

На лестнице послышался снова грохот ног и голос: «И буддим мы там дилить паппалам и рай, и любофь, и блаженство...» Из крылечка вылетел Володя, но — Ваня сидел уже у зеленого столика, погруженный в чтение.

— Что же чай пить, Максим Ковалевский? — сказал Володя. — Иди, брат...

— Потом. Я должен кончить одну статью... — отозвался Ваня холодно.

— Да ты не дуйся, брат! Или, если хочешь, дуйся, но не на самовар: он за мои грехи не ответчик. Идем, не ломай дурака...

— Я еще раз повторяю, что я должен сегодня же кончить эту книжку «Вестник Европы»... — сказал Ваня с достоинством. — И внутреннее обозрение тут очень интересно, и статья по финансовым вопросам очень хороша...

— Какая статья? — недоверчиво переспросил Володя.

— «Монометаллизм или биметаллизм»...

— Что такое? Монобитализм? Это еще что за зверь такой?

— Не монобитализм, а монометаллизм...

— А я тебе говорю в лицо, Ванька, ты — подлец!

— Это еще что такое?!

— А то, что в статье этой ты, конечно, ни бельмеса не понимаешь, а только дуракам пыль в глаза пускаешь...

— Нисколько! Все прекрасно понимаю...

— А я тебе говорю: не форси! Я, студент, и то ни черта тут не смыслю, а чтобы какой-то паршивый гимназист...

— Студенты тоже бывают разные...

— Конечно, профессор, конечно... Не всем звезды с неба хватать... Биномонолизм я предоставляю таким фруктам, как вы, Максим Максимыч, хотя головой клянусь, что ни фига вы тут не понимаете, а себе по скромности я оставляю девушек милых да смехи да хахоньки... Ключет? — вдруг разом меняя тон, кивнул он осторожно на Феню.

— Не понимаю, как можно выражаться так вульгарно о... — приосанился было Ваня с достоинством.

— Тьфу, черт, опять не так! Да ведь не о биномонолизме говорю я, так какого же черта профессорский вид тут на себя напускать?

— А какие перлы скрыты иногда в глубинах народных! — тихонько воскликнул Ваня. — Это совсем не то, что весь этот наш позолоченный, но гнилой внутри вздор!

— Вот тебе и здравствуйте! — поразился студент. — Да ведь и двух недель не прошло, как ты с Милочкой Войткевич по бульвару разгуливал, а теперь — гнилой вздор?

— Я говорю вообще. Да, гнилой вздор...

— Ну, я вам доложу... — протянул Володя, выразительно засветев. — И неужели все это так в Карле Марксе и прописано?

Из раскрытых окон второго этажа полился вдруг мечтательный, нежный голос. За столом стихли: все слушали.

— Вот вам мой добрый совет, профессор, — вдруг решительно сказал Володя. — Наплюй ты на свой этот буономиндализм и — жизнью пользуйся, живущий!

И, подпевая своим приятным тенорком вальсу, он унесся в дом.

Ваня, как бы читая, прошелся раз-другой по садику, а потом снова подошел к окну.

— Феня, милая... эта ваша тайна ужасно мучит меня... В чем дело? — проговорил он. — Почему вы с таким упорством отказываетесь от... Постойте: может быть, вы любите... другого?

— Нет, нет, нет... — тихонько воскликнула Феня. — Никого никогда не любила я... кроме вас... Но... вы не знаете беды моей...

И она вдруг тихонько и жалобно заплакала.

На лестнице снова послышался шум, и Ваня торопливо отошел со своим «Вестником Европы» к столику. На крылечко вышли Иван Николаевич с Галактионом Сергеевичем.

— Ну куда вы так, голубчик, торопитесь? — говорил Иван Николаевич. — Экий вы какой, право! Посидели бы, поговорили... А?

— Всей душой был бы рад, Иван Николаевич, но никак нельзя: Серафима Васильевна ожидает... — отвечал гость. — Мы решили вместе отстоять всюношную. Да вы вот приходите завтра к вечерку с Марьей Ивановной к нам. И молодежь захватите... попьем чайку, побеседуем... Идет?

— Идет... — отвечал Иван Николаевич. — Ну так постойте, я хоть провожу вас... Глаша, а Глаша! — позвал он в окно.

— Вы что, барин? — с вышитым полотенцем на плече и полоскательницей в руках появляясь у окна, отозвалась Глаша, горничная, очень рассудительная девица лет за тридцать пять.

— Дай-ка мне, милая, шляпу — не новую, а ту, постарше, панаму да костыль мой... — сказал Иван Николаевич. — Хочу вот Галактиона Сергеевича проводить...

— Сичас, барин...

— Так-то вот, батюшка, Галактион Сергеевич... — проговорил Иван Николаевич. — Вечер-то какой! В рай не надо...

— Хорошее время стоит...

— И время хорошее, и люди хорошие на свете есть — жить можно, хе-хе-хе... — задрезжал тихонько старческим смехом Иван Николаевич. — Вон говорят: старость не радость... Чепуха! Я вот прямо скажу вам: живу и не нарадуюсь. Жизнь проработал для родины, кажется, по совести, государь не забыл меня, наградил как мог, кусок хлеба на старость есть, ребята на свои ноги уже потихоньку становятся. Все слава богу, за все благодарение Господу...

— Конечно, у нас тут жизнь тихая, хорошая... — сказал немножко грустно Галактион Сергеевич. — Если бы вот только поосторожнее раньше быть. А то жили широко, всюю, вот оно и сказывается. Едва ли удержу я теперь мое «Подвязье», придется продавать. А жалко: родовое гнездо ведь... а красота-то какая... Парк один чего стоит! Вот немножко и грустно...

— Ну, авось Господь не без милости... — сказал Иван Николаевич, принимая от Глаши шляпу и палку. — Спасибо. Э-э, нет, пальто не надо, не возьму... Теплынь какая...

— Как это так не возьму? — назидательно и строго проговорила Глаша. — А заговоритесь где да простынете, что скажет мне тогда Марья Ивановна? Нет, нет, без пальта никак нельзя! Пока на руку возьмите, а сядет солнышко, наденете...

— Ну что ты тут будешь делать? — развел старик руками. — Ну, давай и пальто... Идемте, Галактион Сергеевич... Я скоро, Глаша...

Старики вышли за калитку, а Глаша деловито скрылась в доме. Из окон все лился вальс, тихий и мечтательный... Ваня только было вышел из-за кустов, как на крыльчке показалась Марья Ивановна в стареньком пальтеце, с зонтиком и ридикюльчиком в руках.

— А ты что тут один делаешь? — ласково спросила она сына. — Ты на Володю не обижайся: он хоть и озорник, да душа-то у него золотая...

— Что вы, мамочка? Мне и в голову не приходило... — сказал сын. — Я просто... читаю...

— Ну, невидаль какая! Всего все равно не перечитаешь... — сказала мать. — Пойдем-ка вот лучше со мной ко всеношной. Перед экзаменами-то помолиться не мешает... Бог и поможет... А?

— Я лучше завтра к обедне пойду...

— Ну, бог с тобой, как хочешь... — отвечала она и набожно перекрестилась; над тихим и розовым в вечерних лучах городком вдруг важно, торжественно и чисто пронесся первый удар колокола. — Таня, Таня! — позвала она в окно.

— Вы что, Марья Ивановна? — появился у окна Володя.

— Скажи Тане, чтобы кончала музыку: благовестят...

— Ну, Марья Ивановна... — заныл Володя. — Мы немножко...

— Сказано: нельзя, и нельзя... — строго сказала старушка. — Что ты, басурман, что ли, какой? Люди в храм Божий, а ты будешь тра-ля-ля разводить? Всею свое время. Вот завтра отойдет поздняя, так и хоть весь день забавляйтесь, никто слова не скажет...

— Правильно, Марья Ивановна! Целую ваши ручки... — сказал Володя. — Порядок прежде всего... Таня! — строго крикнул он в комнату. — Мамаша приказывают шабашить: благовестят!

— Экий озорник!.. — повторила, качая головой, Марья Ивановна. — Глаша, а Глаша...

— Что вы, барыня? — появилась за Володей горничная.

— Лампадки-то зажгла?

— Зажигаю, барыня...

— Ты смотри, поглядывай за ними: неровен час, занавески и загорятся. Нынче масло-то какое...

— Слушаю, барыня...

— Ну я пошла...

— С Богом, барыня... За нас помолитесь...

Над розовым, тихим городком плавал задумчивый и торжественный вечерний звон — и у Прасковей Мученицы звонили, и в Княжьем монастыре, и у Николы Мокрого, и у Спаса-на-Сече, и в селе Отрадном за рекой. Феня, убрав свое шитье, скрылась куда-то. Ваня сел подалше, в сирень, на старенькую скамеечку. Из дома вышли Таня с Володей.

— «О, позволь, ангел мой, на тебя наглядеться...» — запел тихонько Володя.

— Нельзя! — загораживая ему рот рукой, строго сказала девушка. — Басурман!

— Не буду, умница! — целуя ее руку, отвечал студент. — А еманципе всех к черту!

Тихонько прошли они садом к забору, постояли там, любуясь вечеряющим небом, далями, рекой, и тихонько скрылись за домом. Дверь на крыльечке приотворилась, и из нее пугливо выглянула Феня. Ваня порывисто поднялся ей навстречу.

— Ах! — Девушка закрыла лицо руками.

— Феня, родная, да что же это с вами? — взмолился Ваня. — Ради бога... Если бы вы знали, как это мучит меня... Пойдемте, я провожу вас, и вы расскажете мне все... Хорошо?

— Нет, нет, никак не возможно! — тихо, с отчаянием отвечала Феня. — Больше недели я... была так счастлива... около вас... А теперь, видно, конец... Я — просватана, милый... И ежели отчим узнает, убьет он меня... Оставьте меня и... прощайте... простите...

Бросив на опешившего Ваню испуганный взгляд, она торопливо пошла к калитке.

— Подождите, Феня! — вдруг устремился за ней Ваня. — Это — вздор! Мы все повернем по-своему... Я иду с вами...

— Нет, нет, милый... — борясь со слезами, решительно отвечала бледная Феня. — Никак нельзя. Если узнают, убьет меня отчим... и вся семья без куска хлеба останется... Он в руках нас держит... Спасибо, милый... и простите... И — не мучьте меня... Такова уж судьба...

Она быстро исчезла за калиткой. Ваня, ничего не видя, торопливо ушел опять в кусты. Из-за старенького дома в сиянии вечера вышли снова рука об руку Таня с Володей. И, забывшись, Таня тихонько запела:

Поутру, на заре,
По росистой траве
Я пойду свое счастье искать.

— Петь нельзя! — строго остановил ее Володя. — Басурманка! Еманципе!

Она счастливо рассмеялась... Взявшись за руки, они восторженно смотрели друг на друга, а над ними, над всею сияющей землей, пел задумчиво и торжественно вечерний звон...

Глава X ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На окраине города, туда, к Ярилину Долу, где тянулись уже тучные огороды, в небольшом мещанском домике с кисейными занавесками и геранью на окнах, с вишневым садом вокруг и со скворечником на длинном сером шесте жила большая семья москвичей, которая состояла из Ивана Дмитриевича Колганова, или попросту Митрича, как звали его приятели, уже пожилого человека с худым телом и лицом и с

водянистыми голубыми глазами, плохо остриженного, небрежно одетого, его жены Анны Павловны, когда-то красивой женщины, которая теперь от бесчисленных родов расплылась в бесформенную перину, и только темно-ореховые, всегда гневные и прекрасные глаза напоминали теперь о ее былом очаровании, и целого выводка детей, дурно одетых, дурно обутых, горластых и невоспитанных. Кончив университет по математическому факультету, Митрич сперва поступил было чиновником куда-то, но очень скоро пришел к заключению, что он делает не бесспорно полезное дело, а толчет воду в ступе и мало того, служит «организованному насилию». Он бросил службу и пошел учителем в гимназию — он был прекрасный и широкообразованный педагог, — но очень скоро убедился, что учить детей тому и так, как он хочет, немыслимо, а учить по бездарной казенной указке он не желает, и ушел из гимназии. От своего отца, не крупного чиновника, достался ему в Москве, в Сущеве, небольшой домик с доходом тысячи на три в год. Скромно на эти деньги жить было бы можно, но Митрич был убежденнейший джорджист и поэтому, не дожидаясь, когда все человечество примет благодетельную реформу единого уравнительного налога с ценности земли, *single tax*¹, — а что оно ее скоро примет, в этом для него не было и тени сомнения, — Митрич поставил себе за правило всю ренту со своего земельного участка тратить только на дела общественные, а не на себя. Это значительно урезывало его средства, а так как семья росла очень быстро, то, несмотря на всю ее оборванность, росли и расходы Митрича и нехватки в его бюджете. Чтобы пополнить эти нехватки, Митрич печатал от времени до времени превосходные переводы своего любимого экономиста Генри Джорджа или же обстоятельные статьи в журналах и брошюрах о том, что вот в Австралии уже введен частично единый налог, а в канадском парламенте один из депутатов произнес в защиту этой замечательной реформы прекрасную речь, что в Англии уже основалось *single tax review*, что, одним словом, мир все ближе и ближе подходит к порогу в светлое царство справедливости. Со всем тем Митрич считал себя великим грешником и чрезвычайно мучился своим обеспеченным положением...

Еще более мучилась его жена Анна Павловна, изо всех сил старавшаяся поспеть за мужем-праведником и очень уставшая от этого постоянного напряжения, от этого бесконечного подвига, который как-то ни к чему не приводил. Препятствовать деторождению они, по великому слову Толстого, считали неслыханным преступлением, воздержаться от жизни супружеской не имели сил, как ни старались, и ребят у них было столько, что даже самые близкие друзья не сразу разбирались, кого и как там зовут. Несколько раз, падая духом, выбившись окончательно из сил, они брали себе в дом «наемную рабу», то

¹ Единый налог (англ.).

есть прислугу, платили ей сумасшедшие деньги, говорили ей «вы», здоровались с ней за руку, сажали ее с собой за стол, и очень скоро оба превращались в рабов ненаемных у рабы наемной. Положение создавалось такое, что после ряда мучительных драм они, щедро одарив наемную рабу, вынуждены были снова отпустить ее на волю и снова впрягались в тяжелый хомут повседневности: готовили сами обед — по возможности дня на три-четыре сразу ради экономии сил и времени, — мыли, шили, нянчили детей, и тридцать раз на дню Анна Павловна приходила в отчаяние и с трагическим лицом, гневно сверкая глазами, заявляла, что она «больше не может». Но тотчас же это свое заявление она опровергала делами: бросалась шить штанишки Жоржику, учила Валика писать, бежала с ведром за водой, в то время как Митрич, качая двух последних близнецов, доказывал забежавшему знакомому, что вне единого налога спасения для человечества нет, и очень огорчался втихомолку, что тот такой простой и очевидной вещи не понимает...

И в последнее время ко всему этому прибавилась еще одна драма, безвыходная и тяжелая. Митрич заметно состарился и ослаб, а Анна Павловна была полна еще не только сил, но и огня. Ей было и жаль мужа, и злилась она на него, и понимала, что смешна эта злоба на природу, и, натура пылкая, сгорала от неудовлетворенной страсти и, трагически сверкая своими красивыми глазами, повторяла сотни, тысячи раз свои жалобы пред друзьями:

— Что же делать? Что делать?! Разве же я виновата, что в жилах у меня кровь, а не вода? Тут терпишь муку мученскую, а он... вон... сидит...

И на красивых глазах ее наливались жгучие слезы...

Чтобы забыться, чтобы уйти от себя, она основала в Окшинске вегетарианскую столовую. «Люди должны поскорее отвыкнуть от отвратительной привычки поедания трупов бедных животных», — говорила она. Сами они все были строжайшими вегетарианцами.

Сюда, в Окшинск, они попали так. В развращенной от праздности и бешеных денег Москве серьезно воспитывать детей было невозможно, и они переселились в Уланку, где Сергей Терентьевич, приятель Митрича, снял для них одну из больших пустовавших изб, но невероятная матерщина деревни, пьянство, буйство и хулиганство молодежи, озлобленная бестолочь всей этой жизни, назойливое любопытство урядника тяготили их там невероятно, и, когда по весне в округе вспыхнула тяжелая эпидемия скарлатины, они, бросив все, в ужасе бежали, но не в развращенную до дна Москву, а в тихий Окшинск, где и сняли этот домик с вишневым садиком и огородом, в котором подраставшая детвора могла бы учиться добывать себе хлеб честным трудом. Но и тут оказалось не многим слаще: и пьянство, и матерщина, а в ближайшем от дома Ярилином Долу в праздники и спря-

таться было нельзя от влюбленных парочек — чуть не под каждым кустом виднелись они в самых рискованных и откровенных позах.

У Колгановых была вечная толчея: люди приходили, сидели часами, пили чай со вчерашними булками, говорили о крестьянстве, о едином налоге, о глупом рабстве социализма, о Толстом, о Новой Зеландии, о положении рабочих в России и Соединенных Штатах, нянчили ребятишек, ели вегетарианский борщ, уходили, опять приходили, опять пили чай, спали, нянчили и — говорили, говорили, говорили...

Евгений Иванович сидел на ухабистом и невероятно запакошенном детьми диване, от которого густо пахло старой пылью. Пол в комнате вымести забыли. На одном из стульев у дверей была свалена куча мокрых пеленок, от которых шел тяжелый дух. Митрич, как всегда, уставив свои водянистые глаза в лицо собеседника, говорил о едином налоге, Анна Павловна в соседней комнате на чадающей керосинке жарила рисовые котлеты с помидорным соусом. Елена Петровна сидела около нее, беспокоясь в душе за свою Тату, чтобы бабушка опять не обкормила ее чем-нибудь непозволительным...

Григорий Николаевич сидел у пыльного окна и нянчил близнецов. Этот разговор совершенно не интересовал его, так как царствие Божие внутри человека и внешние реформы жизни не имеют никакого значения.

— Довольно, довольно разговаривать! — крикнула из соседней комнаты Анна Павловна своим звучным контральто. — Идите котлеты скорее есть, а то остынут... Живо!

Все перешли в соседнюю комнату, тоже с неметеным полом, с продавленными стульями, с мятыми занавесками на окнах и с отвратительным запахом керосинового чада в спертom тяжелом воздухе. Со двора гурьбой явились ребята — оборванные, горластые, грязные — и тотчас же вступили в ожесточенный спор из-за стульев. Родители не останавливали их, потому что они были сторонниками свободного воспитания и стояли за то, чтобы ребенок на собственном опыте познавал, что можно делать и чего нельзя. Евгений Иванович не раз оспаривал этот принцип в беседе с Митричем, но тот говорил, что так как предела родительского вмешательства установить невозможно, то лучше дать детям самим находить пути в жизни: цыплята, котята, зайчата растут же на воле — почему же дитя человека, существа разумного, должно быть лишено этой свободы?

И только разложили котлеты с томатным соусом по исчербленным и салыным тарелкам и принялись за еду, как в столовую вошла Нина Георгиевна и Сонечка Чепелевская, хорошенькая черненькая девушка лет восемнадцати, дочь бедного часовщика-еврея.

— Что же это как мало народу собралось? — разочарованно сказала она, оглядывая всех своими красивыми, блестящими глазами. — Такое интересное сообщение и...

— Садитесь, садитесь есть... — заговорили хозяева. — Еще соберутся... Вам с помидорным или с грибным соусом?

И Сонечка получила сальную тарелку с рисовыми котлетами, но она не замечала ни грязной тарелки, ни котлет, как не замечала бедности отца, грубости околоточного, оскорблений уличных мальчишек, которые кричали ей вслед: «Жидовка, жидовка!.. Христа распяла!..» Все это были пустяки для ее чистоеврейской, тысячелетней души, той души, которая пылала огнями в религиозных спорах иудейских синагог, мечтала о земном рае с Исаией и ессеями, страстно обличала всякую неправду жизни с пророками, плела тонкое кружево диалектики в белой солнечной Александрии, распинала себя за мечту на Голгофе, всюду, везде и всегда гордо отвергала мир таким, каков он есть, и требовала на земле осуществления небесного Иерусалима, в котором жизнь была бы для всех — обязательно для всех, без единого исключения! — вечной, радостно сияющей Субботой. Елена Петровна потеснилась, чтобы дать рядом с собою место Сонечке. Сама она была скучна: и за детей все боялась, да и вообще тяжело ей всегда было тут, и ходила она сюда больше как бы по обязанности, так как здесь ей чуялись какие-то особенно передовые, особенно дерзкие идеи, что было весьма интересно.

Не успели все покончить с котлетами, не успел закоптелый огромный чайник закипеть на загаженной, нестерпимо воняющей керосинке, как явился Евдоким Яковлевич, а за ним вскоре Станкевич, которого жена, смилостивившись, отпустила на часок, потом показалось в дверях китайское лицо Петра Николаевича, который, видя негигиеничность всей этой обстановки, упорно отказывался здесь всегда от угощения, как и Нина Георгиевна, которую прямо судороги сводили от отвращения при виде этой грязи. Потом явились две дочери князя, Саша и Маша, чистенькие, румяные, простые, зимой учившиеся на курсах в Москве, а летом с головой уходившие во всякие общественные дела. Они твердо веровали в демократическое освобождение народных масс и изо всех сил трудились для этого вместе со своим горячо любимым и уважаемым отцом. А когда в жизни что-нибудь нарушало целостность и покой их веры, мешало им, у них автоматически закрывались в душе какие-то окошечки, из которых была видна эта неприятность, и они безмятежно продолжали делать свое обычное дело, которое они любили и уважали. Они извинились, что папа сегодня прийти не может, и получили по стакану мутного чая с дряблым лимоном...

— Ну-с, господа, не будем терять дорогого времени... — проговорил Митрич, надевая когда-то никелированные, а теперь ржавые очки, отчего его тихое лицо стало почему-то еще тише и милее. — Только я должен предупредить вас, что я лично тут решительно ни при чем — мое отрицательное отношение к социализму вам известно... Дело в том, что организаторы этого начинания прислали мне

свой проект и попросили его огласить среди моих друзей, что я и делаю. Я, так сказать, только передаточная инстанция, и я постараюсь эту свою роль исполнить добросовестно, а в скором времени сюда предполагает приехать один из главных руководителей дела, известный писатель Георгиевский, о котором все вы, конечно, слышали, и тогда уже он сам будет отвечать на все запросы тех, кто заинтересуется делом серьезно...

— Да в чем дело? Вы так торжественны... — не утерпела Сонечка, которая всегда боялась упустить всякую минуту в деле установления на земле царствия Божия.

— А вот погодите, сейчас узнаете... — улыбнулся Митрич и только было развернул перед собой на залитом, неопрятном столе вынутые бумаги, как дверь отворилась и на пороге показался запыхавшийся и потный Ваня Гвоздев. Он был печален: Феня на работу больше не явилась, и он никак не мог отыскать ее. Он сделал всем общий поклон и, чтобы не мешать, сел у самой двери. Анна Павловна тотчас же подала ему стакан мутного, остывшего чая. И вслед за ним тихонько вошел носатый и вихрастый студент Миша Стебельков, который усердно начинал Ваню Марксом и немножко сердился, что тот как-то не сразу поддается его усилиям и симпатизирует этим бахвалам-эсерам.

— Итак, дело вот в чем, господа... — проговорил Митрич, разбирая бумаги. — В Петербурге образовалась группа довольно видных представителей интеллигенции — большею частью из левых кругов, конечно, — которая поставила себе задачей немедленное воплощение в жизнь идеалов социализма. Довольно разговаривать и уговаривать, будем действовать примером — таков их девиз. Для этой цели они организовали общество на паях. Пай от пятисот рублей и выше, по желанию, причем неимущие освобождаются от взноса совершенно... — поторопился он прибавить в сторону беспокойно завывшейся Сонечки. — Собрав деньги, уполномоченные общества немедленно выедут на кавказское побережье Черного моря для покупки — конечно, на самом берегу моря, в красивой и здоровой местности, — соответствующего участка земли десятин примерно в пятьсот или даже в тысячу. Хозяйственной основой этой первой вольной коммуны — официально, чтобы не дразнить гусей, она будет называться земледельческим кооперативом или артелью, но по существу будет коммуной, — так основанием ее будет, конечно, земледелие со всеми его отраслями: садоводство, огородничество, пчеловодство, разведение промышленных и лекарственных растений и прочее, но коммуна отнюдь не будет чуждаться и фабрично-заводских промыслов, и на своих землях, среди гор и лесов, она предполагает воздвигнуть фабрики-дворцы, полные воздуха и света, заплетенные розами, в которых новые, вольные рабочие и покажут современному капиталистическому обществу, что может дать людям вольный, сознательный труд... Само собою разумеется, реформа-

торская деятельность коммуны будет развиваться не только в экономической области, но во всех областях человеческой жизни. Для детей там будет основана новая, совсем свободная школа — этому вот я глубоко сочувствую, — и огромный, полный солнца университет будет как бы золотым, сияющим центром этого трудового улья, которому инициаторы решили дать название «Живая Вода». Все жаждущие правды и воли могут приходиться и пить из живоносного источника... Вот тут у меня есть их сметы, и проект устава, и подробная пояснительная записка, но все эти документы я передам тому кружку лиц, которые пожелают принять личное участие в коммуне, а буде таких лиц у нас не найдется, отдам Георгиевскому, когда он заедет сюда к нам. Вас же утомлять чтением всех этих документов, думаю, не стоит, хотя замысел их и довольно любопытен...

— Нет, нет, читайте... — раздались со всех сторон голоса. — Это чрезвычайной интересно... Время есть... Просим прочесть...

— Ну, отлично... — добродушно согласился Митрич. — Только Анюта с Сонечкой пусть поят нас чаем, а вы, Григорий Николаевич, понянчите уж малышей, чтобы они нам не мешали...

— Хорошо... Хорошо... — сказал Григорий Николаевич, который и без того уже возился с близнецами, заставляя их скакать на коленях, как на лошадке. — Мы с ними отлично спелись... Читайте.

И вот в душной, тяжело воняющей керосином и неметеной комнате, вокруг залитого чаем и заваленного салными тарелками и всякими объедками стола началось чтение проекта великого дела, который был похож не столько на проект хозяйственного предприятия, сколько на прекрасную поэму, на стихотворение в прозе, на какой-то золотой сон, осуществление которого в жизни создаст на земле в каких-нибудь три года настоящий рай. И все, сидя на продавленных стульях, слушали — одни с некоторым недоверием, другие, как Сонечка и Ваня, затаив от волнения дыхание. Близнецы не раз принимались шуметь, но Григорий Николаевич, прищелкивая языком, изображал лошадку, менял пахучие пеленки, подмигивал, подсвистывал, и они снова замолкали...

Чтение кончилось. Митрич вытирал грязным платком проступивший на лбу пот и, сняв очки, все никак не мог попасть ими в истертый футляр.

— Какой у него яркий и горячий литературный талант! — сказала тихо Елена Петровна.

— Да, с подъемом написано... — согласился Станкевич, захрустев стулом.

— Но дело не в этом, господа, а в том, кто из нас примкнет к великому делу... — нетерпеливо бросила уже запыхавшая Сонечка.

Все по очереди стали подавать свое мнение: Митрич сказал, что он не может принять участия в деле, потому что считает социализм, хотя бы и самый научный, жалким суеверием нашего време-

ни, а во-вторых, потому, что дело связано с куплей-продажей земли, а земля есть собственность всего человечества и владеть ею на правах частной собственности — преступление. Григорий Николаевич, продолжая изображать лошадку, заявил, что он против всякого изменения своего положения, ибо во всяком положении человек может обрести свое благо. Молоденькие княжны Саша и Маша полагали, что им прежде всего следует закончить свое образование, да и вообще папа не сочувствует социализму. Ваня, бросив на них презрительный взгляд, с энтузиазмом, срывающимся басом выразил свою полную готовность служить великому делу, и немедленно. Петр Николаевич сказал, что газеты он, конечно, бросить не может, но что тем не менее не сочувствовать такому симпатичному начинанию невозможно. Станкевич выразил делу также полное сочувствие, но сказал, что слабое здоровье жены не позволяет ему принять в нем непосредственное участие, а кроме того, он был убежден, что проклятое правительство задушит коммуну в самом начале. Евгений Иванович мягко выразил свое сомнение в успехе дела и хотел было еще что-то прибавить, но сдержался. Поэтому Елена Петровна подчеркнуто и раздраженно высказала коммуне свое горячее сочувствие. Студент Миша считал, что работа среди пролетариата на местах всего важнее: эдак всякий спрятался бы в келье под елью! Евдоким Яковлевич боялся пускаться со своей огромной семьей в предприятие, успех которого сомнителен прежде всего из-за проклятого правительства. Нина Георгиевна, смеясь, сказала, что она человек слабый и героических решений боится, но что все это вообще чрезвычайно симпатично. Сонечка, вся вспыхивая от восторга, сказала, что за такое святое дело не жалко и жизнь отдать, но что у нее на Кавказе нет правожительства...

— Сколько раз говорил я вам, что нелепо, безграмотно говорить «правожительство»... — заметил не любивший ее Евдоким Яковлевич. — Не «правожительство», а отдельно: право жительства. Как можно так коверкать русский язык?

— Ах, это совсем все равно! — нетерпеливо отмахнулась Сонечка. — Дело не в грамматике, а в великой идее...

И в грязной, душной комнате закипел горячий спор. Петр Николаевич, которому время было — уже смеркалось — идти в редакцию, незаметно вышел первым и, старательно попрыскав на себя за углом из пульверизатора, торопливо зашагал к редакции. Он и не заметил, как при его появлении от окон отскочила какая-то серая тень и будто бы равнодушно, без дела, гуляя, направилась к городу.

Евгению Ивановичу стало вдруг что-то тоскливо — на него часто налетали эти порывы беспредметной, казалось, тоски, — и он встал, чтобы незаметно уйти... Вокруг кипел горячий спор... Мимо окон серые солдаты, лузгая семечки и скаля белые крепкие зубы, вели кухарок и горничных в Ярилин Дол...